

СТЕНОГРАФИЯ НАЧАЛА ВЕКА

Без малого полвека назад, делая повседневные записи на самые разные темы, я стал пользоваться стенографией, несколько отличной от общепринятой. Помимо основного преимущества, скорописи, такой способ в советское время обеспечивал и необходимую безопасность. Там были заметки о злободневных событиях, литературные и прочие размышления, впечатления о встречах, о разговорах с людьми. Перечитывать их годы спустя оказалось сверх ожиданий интересно. Часть этих записей за 1975—1999 годы я решил расшифровать. Так возникла книга «Стенография конца века», которую выпустило в 2002 году московское издательство «НЛО».

Подробнее я пишу об этой своей работе в статье «Дневник писателя», которая предваряет подготовленную специально для библиотеки «ImWerden» расшифровку никогда прежде не публиковавшихся записей прошлого века, начиная с 1960 г.

Стоит ли говорить, что я продолжаю свою стенографию и в новом тысячелетии? Некоторые записи последних лет показалось небезынтересно расшифровать, сгруппировав их вокруг заголовков и убрав даты. Так стала складываться новая книга «Стенография начала века», фрагменты которой предлагаю читателям Библиотеки.

Переклички

По ходу работы понадобилось полистать «Игру в бисер» — и невольно зачитался описанием «фельетонной эпохи».

«Люди ходили танцевать и объявляли любые заботы о будущем допотопной глупостью, они с чувством пели в своих фельетонах о близком конце искусства, науки, языка», «с каким-то самоубийственным сладострастием констатируя в фельетонном мире, который сами же построили на бумаге, полную деморализацию духа, инфляцию понятий», «получали уйму анекдотического, исторического, психологического и всякого прочего материала», «пробирались через море отдельных сведений, лишенных смысла в своей обрывочности», «склонялись в свободные часы над квадратами и крестами из букв, заполняя пробелы по определенным правилам». И т. п. Как будто о наших днях. «Об-

разовательные их игры были не просто бессмысленным ребячеством, а отвечали глубокой потребности закрыть глаза и убежать от нерешенных проблем и страшных предчувствий гибели в как можно более безобидный фиктивный мир».

Это писалось 60 лет назад. Термина «виртуальная реальность» еще не существовало. «Приближалась ужасная девальвация слова, которая сперва только тайно и в самых узких кругах вызывала то героически-аскетическое противодействие, что вскоре сделалось мощным и явным и стало началом новой самодисциплины и достоинства духа».

Мне здесь нравится эпитет «героико-аскетическое» — таким может быть личное сопротивление упадку. Утопия совместного противодействия виделась Гессе чем-то вроде монастырского ордена. Соотнести ее с реальностью будущего убедительно не получилось: перемены произошли более мощные и масштабные, чем он мог представить (даже не пытаясь мысленно заглянуть дальше автомобиля и радио). И все-таки сопротивление не может не остаться потребностью, хотя бы на уровне самосохранительного инстинкта. Без него — разложение, вырождение, гибель. Какие-то механизмы, природные ли, духовные, исподволь начинают работать.

Каким жутким казался когда-то «Бобок» Достоевского! Мертвецы получают напоследок возможность разговаривать. «Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться... Проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся!»

Но сейчас-то это самое обычное дело, и не только словесно обнажаются — взаправду. Во времена Достоевского тоже об этом писали (комментаторы поминуют Боборыкина и других), но критики морщились и зажимали носы.

«Не плоть, а дух растлился в наши дни», — философствовал Тютчев. И тогда это было, и раньше. Сейчас ничто не кажется даже скандалом, вот в чем, пожалуй, новизна. Не морщатся, не зажимают носы, не ощущают мерзкого духа. И что такое дух?

Для попутных надобностей заглянул в книгу С. Лема «Сумма технологии», которой когда-то восхищался. И случайно открыл на странице, где Лем рассуждает о переменах, которые может принести в человеческое существование новшество — противозачаточные препараты, «радикально отделяющие размножение от наслаждения, скрепленного с ним эволюцией». Прочитую

немного. «Химически гарантированная бесплодность соития способствует ослаблению связей между половыми партнерами». «Средства, удовлетворяющие желания или влечения, могут вывести из равновесия аксиологическую систему общества..., способствовать (косвенно) признанию лишними различных трудно учитываемых эротических традиций..., вызвать «аксиологический коллапс», то есть спад системы ценностей». «Атрофия ценностей, начало которой положено технологией, имеет характер необратимого процесса»...

Посмотрел дату на последней странице — это писалось в 1966 г. Всего (уже!) тридцать шесть лет назад. Развитие шло своим чередом, осуществилось многое другое, о чем Лем лишь фантазировал («Интеллекtronика», «Фантомология»). Чем это обернется в будущем, до сих пор остается гадать; возможно, и нынешнее состояние продержаться долго просто не сможет, придется что-то выправлять. («Обмен ценностей на выгоды — это современная форма хищнического хозяйничания».) Но как быстро все стало меняться при нас!

Все еще не сразу спохватываюсь, когда слышу: «В середине прошлого века». Какого века?... Господи, да это о временах, когда я ходил в школу.

Исправление языка

Я мало слежу за прессой — неужели никого не покоробили дежурные журналистские штампы? Если Куба, то с добавлением «остров свободы». Ким Чен Ир — «вождь корейского народа». Сотрудники службы безопасности — «чекисты».

С острова свободы пытаются убежать, рискуя жизнью. Про вождя нечего говорить. О чекистах напомнила недавняя идея восстановить памятник Дзержинскому: это они осуществляли массовый террор, расстрелы ни в чем не повинных заложников, стариков, женщин, без суда, следствия, даже без формального приговора — ну, описание их деяний может занять тома.

Употребляются эти слова как бы с насмешливым подмигиванием: мы-то с вами знаем, какая на острове свобода, какая цена титулу вождя... Нет, словоупотребление вовсе не так безобидно.

Философ и литератор Федор Степун вспоминал о первых годах советской власти: «Службы для власти всегда было мало, она требовала еще и отказа от себя и своих убеждений. Принимая в утробу своего аппарата заведомо враж-

дебных себе людей, она с упорством, достойным лучшего применения, нарекала их «товарищами», требуя, чтобы они и друг друга называли этим всеобщим именем социалистического братства. Протестовать не было ни сил, ни возможности... Как ни ненавидели советские служащие «товарищей»-большевиков, они мало помалу все же становились в каком-то утонченнейшем стилистическом смысле «товарищами». Целый день не сходящее с уст и наполнявшее уши слово проникало, естественно, в душу и что-то с этой душой как-никак делало Слова — страшная вещь: их можно употреблять всуе, но впустую их употреблять нельзя. Они — живые энергии и потому неизбежно влияют на душу произносящих их людей».

Профессиональное исследование темы осуществил в своей книге «ЛТИ» («Lingua Tertii Imperii» — «Язык третьего рейха») немецкий филолог Виктор Клемперер. Еврей, переживший годы нацизма в Германии, он наблюдал за пропагандистским и бытовым словоупотреблением, в том числе и среди своих товарищей по несчастью (глава «Язык победителей»). Постепенно он стал замечать, что евреи обнаруживали склонность употреблять язык нацистской пропаганды как бы в насмешку, пародируя, ерничая. Они употребляли выражения «кровь и почва», «мировое еврейство», обращались друг к другу, как обращались к ним надсмотрщики: «еврей такой-то». «Они усвоили все антисемитские выражения нацистов, в том числе специфически гитлеровские, и так привыкли к этому способу выразиться, что, пожалуй, сами перестали замечать, насколько высмеивали фюрера, насколько самих себя и в какой степени этот язык самоуничтожения стал их собственным».

Исследует ли кто-нибудь на таком уровне живой опыт нашего языка, недавний и нынешний?

Состояние культуры

Гамбургский еженедельник «Die Zeit» подводит итог последней художественной выставки «Documenta-10». «Важнейшим произведением выставки стал чудовищный четырехтомный каталог общим объемом 2636 страниц». Социологические, политологические, философские комментарии и концепции практически вытеснили и подменили то, что прежде называлось искусством. Искус-

ством можно объявить что угодно. Художники склеивают картины из пластыря или вырезают бетономешалки из дерева — рынок все время требует чего-то новенького. «Приходится мириться с тем, что произведения живут все более короткое время. Это оглуляющая игра, из тех, что превращают правила в содержание».

Нехитрый парадокс: выгоднейшее из этих правил — нарушать правила. Толковать при этом о бунтарстве и независимости — значит явно лукавить. Менеджеры охотно берут строптивцев к себе в офисы: экстравагантные выходы неплохо служат рекламе, привлекают к фирме внимание. Имена можно использовать как фирменную этикетку, манера и стиль тиражируются по законам рынка. И если деньги платят за это, а не за картины тех, кто продолжает себя называть художниками — какое искусство считать современным?

Вспомнилось: «У художника прежде была судьба, теперь нужен "прикол"».

То и дело возобновляются споры, есть ли будущее у литературы. Утратившие к ней интерес склонны считать, что его утратило все человечество, ссылаются на статистику. Неопровержимо доказать противное, пожалуй, так же нельзя, как доказать существование Бога. Для верующего он есть, без этого жизнь потеряла бы смысл, неверующий обойдется. Литература существовала не всегда, не так уж трудно представить цивилизацию без литературы. Авторы антиутопий от Хаксли до Брэдбери пробовали смоделировать «прекрасный новый мир» электронно-фармацевтического благоденствия, из которого почему-то — случайно ли? — оказываются изгнаны книги. И случайно ли именно к книге тянутся аутсайдеры и беглецы из этого мира — как будто чего-то насущного им теперь не хватает?

В рассказе «Афинские ночи» Варлам Шаламов напоминает рассуждения Томаса Мора о четырех основных потребностях человека, удовлетворение которых способно доставить ему блаженство. В нечеловеческих условиях колымского лагеря выяснилось, что не менее насущной бывает для человека пятая потребность — потребность в стихах.

«У каждого грамотного фельдшера, сослуживца по аду, оказывается блокнот, куда записываются случайными разноцветными чернилами чужие стихи — не цитаты из Гегеля или Евангелия, а именно стихи. Вот, оказывается, какая

потребность стоит за голодом, за половым чувством, за дефекацией и мочеиспусканием.

Потребность слушать стихи, не учтенная Томасом Мором. И стихи находятся у всех».

Поразительное, не подлежащее сомнению свидетельство: стихи могут оказаться для человека одной из насущных, природных потребностей.

Вдруг поймал себя не просто на литературоцентризме — на чем-то вроде литературного шовинизма. Может ли быть полноценной жизнь без поэзии, без книги?

И тут же вспомнились слова байкера, мотоциклетного гонщика: когда я держусь за рога своей «ямахи», только тогда я живу по-настоящему. Другим этого не понять.

Жизнь разделена на бесчисленное множество разнообразных, почти не соприкасающихся отсеков — не может быть общих интересов, тем для разговора, даже языка.

И все же литература — один из универсальных инструментов, позволяющих полноценно ощущать и осмысливать жизнь в самых разных ее проявлениях. Включая и кайф этого байкера.

Издательство НЛО выпустило книгу Андре Шиффрина «Легко ли быть издателем. Как транснациональные концерны завладели рынком и отучили нас читать». Я познакомился с Андре Шиффриным в 1994 г. в Париже. Он незадолго перед тем (в 1990-м) основал издательство «Нью Пресс», выпустил по-английски мой роман «Линии судьбы», говорил о желании издавать литературу действительно высокого уровня — и о том, насколько это в Америке непросто. В книге, которая была закончена в 2001 г., он пишет теперь, что как раз тогда, в 90-е годы стала все ощутимее нарастать цензура рынка, массового вкуса и прибыли.

«Изучив издательские планы за несколько десятилетий, я с уверенностью заявляю: здесь перемены произошли значительные и, возможно, необратимые... За последние десять лет книгоиздание изменилось больше, чем за все предшествующее столетие».

Из анализа, данного Шиффриным, можно понять, что на книжном рынке спрос определяет предложение не так уж стихийно. Поставщики коммерчески выгодной продукции формируют этот рынок сознательно, умело, с использова-

нием рекламных, маркетинговых и всяких других технологий. Он цитирует мемуары одного своего коллеги, который «с красноречивой брезгливостью» пишет о поставщиках известных бестселлеров и в то же время «отзывается о книгах этих пошляков как о неотвратимом будущем издательского дела, которое все теснее срастается с индустрией развлечений».

Вывод приходится сделать такой: покуда качественное чтение было запрограммировано обществом как норма, оно и было нормой для миллионов. Тоталитаризм облегченной, развлекательной, массовой культуры искусственно формирует категорию потребителя, не желающего, да и не способного напрягать мозги для мало-мальски серьезного чтения. Сужается круг людей, которые еще могут сопротивляться, поддерживать уровень.

Время от времени в переписке с Г. Файбусовичем [Б. Хазанов] мы возвращаемся к той же теме: литературная, культурная ситуация в России. Насколько она отличается от ситуации, скажем, в Германии, где он теперь живет? Имеют ли смысл разговоры о какой-то нашей особенности, подстраиваемся ли мы все основательней под общемировую тенденцию?

В недавнем письме он мне отвечал так:

«Разумеется, то, о чём мы говорим, — неслыханное доселе порабощение литературы рынком, — удел всех стран, где сформировалось массовое общество, и Германия, может быть, один из самых ярких примеров. Россия, как это бывало не раз, на всех парах догоняет ушедшие вперёд нации, неосознанная цель — создать именно такое общество. Но, достигнув определённого уровня, оно вырабатывает — или пытается выработать — механизмы противодействия, которых я в России пока не вижу».

И в другом месте уточняет:

«Тут хороший повод поговорить на любимую тему: о бездуховном Западе. Тем не менее в развитых странах, где цивилизованный плебс — потребитель культуры — обладает несравненно большими возможностями навязывать людям духа свои вкусы, этот самый «дух», казалось бы, обречённый окончательно испустить дух, оказывается, ко всеобщему удивлению, неожиданно живучим. Иначе невозможно объяснить тот странный факт, что время от времени снимаются фильмы, о которых заведомо известно, что публика будет уходить с сеанса, не досмотрев и трети, выходят в свет книги, которые прочтёт ничтожная часть населения. И, однако, они снимаются и выходят в свет, чтобы встать со временем на подобающие им места в истории искусства и литературы. Дело в том,

что разрушить традицию так же трудно, как перестроить биологическую природу человека; и, подобно природе, она жива постоянным обновлением. Дело ещё и в том, что высокая, то есть заведомо убыточная, культура сама по себе институционализована (прошу прощения за это неудобоваримое слово). Два фактора имеют здесь первостепенное значение: меценатство и новая инкапсуляция культуры, давно порвавшей с народностью, инкапсуляция, которая может напомнить эпоху Высокого средневековья — XIII век. В конце концов демократизация культуры — изобретение недавнего времени; эпохи, когда литература была достоянием ничтожного меньшинства, — правило, а не исключение».

Протестантский немецкий теолог Дитрих Бонхеффер, казненный нацистами в апреле 1945, писал из тюрьмы:

«В иные времена христианство свидетельствовало о равенстве людей, сегодня оно со всей страстью должно выступать за уважение дистанции между людьми и за внимание к качеству... Мы переживаем сейчас процесс общей деградации всех социальных слоев и одновременно присутствуем при рождении новой, аристократической позиции, объединяющей представителей всех до сих пор существующих слоев общества... С позиции культуры опыт качества означает возврат от газет и радио к книге, от спешки — к досугу и тишине, от рассеяния — к концентрации, от сенсации — к размышлению, от идеала виртуозности — к искусству, от снобизма - к скромности, от недостатка чувства меры — к умеренности. Количественные свойства спорят друг с другом, качественные — друг друга дополняют».

1945-й год! Гессе уже написал свою касталийскую утопию, я полвека спустя фантазировал о возможности новой, духовной элиты. Это и тогда, и сейчас могло быть только утопией: существование не отдельных самоотверженных, аскетических служителей духа, а чего-то вроде ордена, способного влиять на развитие общества, поддерживаемого, может быть, властными инстанциями, обладателями экономических возможностей...

Нет, об этом приходится до сих пор лишь фантазировать. Кто возьмется остановить хищническую погоню за прибылью — в перспективе очевидно для всех губительную? В существующей системе все слишком взаимосвязано: если не стимулировать излишнее, в сущности, потребление, остановятся производства, возрастет безработица — ну, и так далее, это общеизвестно.

Цитату из Бонхеффера приводит в своей работе «На грани третьего тысячелетия» покойный профессор В. В. Налимов, с которым я был когда-то знаком. На последней странице он приходит к выводу: «В нынешней планетарной ситуации можно надеяться только на вмешательство космических сил».

Тут я умолкаю. (Имеются в виду, насколько я мог понять, вовсе не инопланетяне. Обсуждается физическая концепция, согласно которой «судьба каждой частицы оказывается связана с судьбой всего космоса — не в тривиальном смысле воздействия сил из окружающей среды, но в том смысле, что сама ее реальность включена в универсум»). Для понимания нужно перестроить само человеческое сознание — каким образом?

Недостаточность философий

Все философии недостаточны и всегда будут недостаточны — ограничены возможности словесного выражения. С усилием пробуем мы вообразить мироздание, состоящее из элементарных частиц; но представить его имеющим не три или четыре, а восемь, десять, одиннадцать измерений, где элементарные составляющие имеют вид вибрирующих волокон (так называемая string-theory), можно только математически, и доступно это лишь горстке узких специалистов. Зато они вряд ли поймут без перевода на доступный язык премудрости другой специальности, а остальное, подавляющее большинство и вовсе не сможет ничего понять. Единая теория поля не обеспечит единого — истинного — понимания мира. Бесконечное разрастание частных знаний не может найти объединяющего выражения, не может вместиться в ограниченном человеческом мозгу. Можно добиться большей эффективности мозга, подключить ему в помощь изошренные технологии, можно представить объединение многих мозгов в систему. Но если человеческая природа в принципе не изменится, приближением к тайне и полноте останется считать мистические видения, фантастические, поэтические образы.

Гении и шедевры

А все-таки начался действительно другой, 21-й век. Непонятное обещание. Недавно я попробовал спросить других и себя: есть ли сейчас подлинно великие художники? Прошлый век был плотно ими заполнен, от начала до конца. Пикассо, Матисс, Шагал — летом я листал многотомный альбом гениев. Никто не перешел в новый век. Наверно, я их просто не знаю? Но если они и невозможны, и не нужны? Развертывается действительно новая цивилизация? Науку движут корпорации, индивидуальные гении не обязательны? Особый разговор о литературе. Современники обычно не распознают гениев, я и в этой области никого не могу назвать. Но что, если они окажутся невозможными просто потому, что не нужны?

Краем уха слушал теледискуссию на провокационно сформулированную тему: шедевры могут создавать только мужчины. Говорили вещи общеизвестные: об исторических, социальных, физиологических аспектах фактического неравенства мужчин и женщин, о праве на юридическое равенство и т. п. Но я подумал: создание шедевров представляется всем как некая привилегия, приносящая славу и житейское процветание. А вспомнили бы, как это создание шедевров оплачивалось жизненной трагедией, бедствиями, мучительным напряжением, преждевременной смертью, а слава и успех редко бывали прижизненными. И тут же возник другой вопрос: а так ли уж сейчас кому-то хочется действительно создавать шедевры, которые слишком дорого стоят? Можно ли вспомнить такие шедевры и людей, создавших их, за последнюю четверть века? Были достижения технологические, успехи проката; нобелевские премии отмечали либо достижения весьма давние, либо тоже скорее технологические, результат коллективной работы лаборатории и т. п. Назовите шедевры в живописи, музыке, литературе, кино? Так вот, человечеству, может быть, не особенно уже этого хочется? Может быть, его больше устраивают развлечения, приятные ощущения, технологические достижения? Устраивают и женщин, и мужчин — трудно сказать, кого больше. Женщины, бывало, жертвовали собой, стимулируя честолюбие мужчин. Сейчас это не модно.

«Что порождает у читателя гениальной книги скуку? Иногда скуку порождает обилие выраженной мысли. Я здесь имею в виду не количество мысли, которое никак не переходит в качество. Я имею в виду другое: скуку как напряжение ума при чтении..., как вообще лень мыслить... «Мыслить» — не означает отдых. Мыслить есть деяние». (Я. Э. Голосовкер. О интересном).

Звучит все знакомо и понятно. Но называть ли описанное скукой — или как-то иначе?

По поводу разговоров о том, что не стало подлинных событий в искусстве, литературе. Событие — понятие субъективное. Событие — это явление, ставшее для кого-то значительным; другие это событием могут не считать. Гениальное открытие, не воспринятое в свое время, событием не становится, но его гениальность объективно доказуема. Теория относительности, сформулированная Эйнштейном еще в 1905 году и принявшая вид общей теории в 1915 году, интересовала первоначально лишь сравнительно узкий круг специалистов. Событием она стала, когда во время солнечного затмения 1919 года астрономическая экспедиция подтвердила предсказанный Эйнштейном факт отклонения светового луча под влиянием гравитации. Вот это стало газетной сенсацией, это публика восприняла: экспедиция, затмение, отклонившийся луч света. После этого он стал знаменит.

Возможно ли такое в искусстве и литературе? Как тут объективно доказать гениальность?

Меняется время, меняемся мы. Меняются вкусы времени, меняются наши вкусы. Если наши вкусы меняются вместе со вкусами времени, это означает следование моде. Несовпадение со вкусом времени может означать старомодность, но может означать верность собственному пути, сопротивление массовой безликости, иногда — превосходство, предвосхищение еще не понятого другими. Впрочем, простая оригинальность вполне проходит по разряду массовых добродетелей.

Юра Карабчиевский

Вечер памяти Юры Карабчиевского. В зале собрались в основном люди, знавшие его, но кто-то лично с ним не был знаком. Пишущие часто бывают мало похожи на то, что они написали. Юра был в этом смысле предельно адекватен тому, что писал. Он был на редкость органичен, не допускал ни в чем никакой фальши.

Мы были с ним в добрых отношениях. Нас обоих тогда не печатали. Его, впрочем, иногда печатали в эмигрантских изданиях. Он подарил мне некото-

рые оттиски, я давал ему читать свои рукописи. Как раз тогда по рукам ходила рукопись моей повести «Два Ивана», о временах Ивана Грозного. Возвращая ее мне, Юра не стал скрывать, что это не *его* литература. «Я понимаю, - сказал он, что это настоящая литература, хорошо написано и т. д. Но я не понимаю, как можно писать о том, чего сам никогда не мог видеть, знать». Он действительно мог писать только о том, что лично видел, знал, пережил.

Встречаясь, мы больше всего говорили о литературе — что могло быть тогда интересней для таких, как мы? Я помню, как высоко он однажды отозвался об Андрее Битове. Личные отношения у них тогда были не самые лучшие, но он написал о нем статью. (Она была напечатана, кажется, уже после его смерти). Я помню, как он сказал: «Битов — первый русский писатель после Достоевского, который считает нужным судить о человеке не по его поступкам, не по тому, что он делает и говорит, а по его затаенным, иногда как бы не произнесенным мыслям, в которых он проявляется вовсе не таким симпатичным, каким хотел бы казаться, прежде всего себе».

И я помню, как стал с ним спорить. Каждый человек, сказал я, действительно может поймать себя на малодостойных, просто омерзительных мыслях. Он может не только пожелать кому-то смерти, но в мыслях столкнуть его с обрыва, может мысленно натворить неприятному человеку самых гнусных пакостей. Нам приходится за кем-то ухаживать, кого-то выхаживать, это трудно дается — можно поймать себя на мысли: хоть бы это поскорей кончилось. И т. д. — перебирать можно сколько угодно. Но ловить то и дело человека с личным на недостойных, компрометирующих душевных движениях и мыслях, уличать: вот он какой — на самом деле несправедливо. В этом есть какая-то неправда. Характеризует человека способность сопротивляться этим душевным движениям, безглаголиво или с ужасом их отстранять, действовать вопреки им...

Он выслушал меня очень внимательно и сказал: «Над этим стоит подумывать».

Иногда мне кажется, что ему — именно потому, что он умел быть предельно честным, — оказалось непросто разрешить в самом себе какое-то противоречие. Может, тут стоит искать один из ключей к его драме.

В нашей памяти остался человек очень светлый, чистый, честный — и очень грустный.

Кто это сказал?

Mont-Noir. Включив телевизор, попал на знаменитую игру «Кто получит миллион». Человек задумался над вопросом: кому принадлежат слова «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»? Выбор между именами: Сталин, Маркс, Троцкий, Ленин. Ответ давал 500 000 Ft. И человек сдался — не стал отвечать. Он уже выиграл 300 000, боялся потерять. До этого были вопросы о каких-то киноактерах, телеведущих — это он знал. Мужчине на вид было за 40. Значит, так изменилось поколение? Не только у нас, во Франции, думаю, тоже еще недавно все знали про Маркса, Энгельса, «Коммунистический манифест».

Еще о постмодернизме

Долгий разговор с профессором К. Одна из его мыслей: стало невозможно преподавать студентам систему знаний, их не интересует система, историческое развитие и т.п. Все равноценно, все взаимозаменяемо. Традиционная культура Европы чужда все растущему числу приезжих, африканцев, мусульман. События 11 сентября — важный, может быть, переломный момент, люди ощутили угрозу. Протест против глобализации — также протест против ситуации, которую К. называет постмодернистской. На мой вопрос, есть ли аналогия с периодом упадка Римской империи (гедонизм, проникновение варваров, которые не становились римлянами), ответил отрицательно. Там еще действовали традиционные принципы, законы, были те же боги; варвары становились римлянами и получали посты уже в третьем-четвертом поколениях и т. д. Конец Римской империи принесло христианство. (Я подумал: а может быть, ту же роль сыграет теперь ислам?)...

Из справочника по постмодернизму: «Истина основывается на тех искусственно выстроенных аргументах, в которые поверил создатель аргументации, и живет за счет круговой поруки тех, кто согласился эту истину разделить».

Я бы тут заменил слово «поверил» — может быть, сконструировал, вера тут ни причем, но ситуация (в литературе, в критике, филологии, философии) мне знакома. Я начинаю понимать, что такое постмодернизм.

Дневник Д. Хармса от 31.10.37: «Меня интересует только «чушь»... Геройство, пафос, удаль, мораль, гигиеничность, нравственность, умиление и азарт — ненавистные для меня слова и чувства. Но я вполне понимаю и уважаю: восторг и восхищенность, вдохновение и отчаянность, страсть и сдержанность, распутство и целомудрие, радость и смех».

Перечитываю это сейчас со все большим пониманием. Что значило в его время геройство, пафос, мораль? Как достойны противопоставленные им понятия живой жизни!

Были времена, когда «геройство» вызывало уважение, а не внутреннее сопротивление. Когда оно не проповедовалось фальшивыми командирами, посылавшими солдат на бессмысленную смерть. Когда это порождалось внутренним чувством, душевным выбором.

И, возможно, еще по-новому зазвучат слова, которые понадобится противопоставить опасной стадии распада.

Появляются, исчезают новые слова, к современному жаргону приходится привыкать, как к реалиям новой жизни. Пуристом не надо быть — неправильно и бесполезно. Вот только цену бездумного словоупотребления сознавать бы надо — оно не безобидно. «Киллер» в своем, английском языке звучит так же, как по-русски «убийца» — в нем нравственный, оценочный, давно устоявшийся смысл. У нас это как бы обозначение профессии. Так и говорят: «профессиональный киллер, с некоторой даже почтительностью. Или «вымогатель» — понятная мерзость. А «рэкетир» — персонаж, термин. Это не безобидно, это надо, произнося, сознавать, этому надо сопротивляться.

Правда жизни

Режиссеру говорят: почему в ваших картинах сплошные убийства, мордобой, зверства? Искусство должно отражать жизнь, — отвечает интеллигентно. Сам бритый, с модной щетиной, цепочка золотая на шее.

Насчет «отражать» — особый вопрос. Почему это оно должно отражать? Не зеркало. У него другие задачи. Но ведь и не отражают картины реальную жизнь, лукавит режиссер. Реальность убийств и преступной жизни скорей узнаешь по милицейским документальным съемкам. Изуродованные лица, тела,

мерзость, блевотина. Фильмы эту реальность эстетизируют со вкусом, эффектно. После стрельбы и ударов, от которых должны разлететься мозги, киногеничные персонажи картинно падают, не растрепываются даже прически, из уголка губ сочится красивая кровь, а выжившие обходятся ссадинами. На этом делаются деньги, не надо говорить о реальности. И не надо утверждать, что это не вдохновляет подростков на подражание. Доказано, что вдохновляет.

В лесу уже несколько месяцев стоят две самодельных палатки, покрытых большим куском полиэтилена. Здесь обосновались бездомные, которых теперь называют бомжами. Жгут костры, при них собаки, полаивают на проходящих. А последние два дня еще один такой, грязный, нечесаный, согревает на костерке чайник прямо неподалеку от железнодорожных путей, иногда читает газету. Между тем уже мороз -17° . Сегодня у речки два бомжа подкрадывались к плавающим уткам с рогаткой. Есть хочется. Но вряд ли можно попасть из рогатки по маленькой голове.

Все больше бродячих собак. Говорят, если бы не было этих, набежали бы другие, из Подмосковья. Зато уже вторую зиму не вижу на снегу заячьих следов — не собаки ли их уничтожили? Необходима поправка к моим восторгам по поводу лесных красот.

Больница. Рядом со мной — искривленный маразматик, что-то иногда начинает мычать, пробует двигаться, вонь от него, как из уборной. Пришедшая к нему женщина, как ни странно, его мычание расшифровывает. «Какое пиво? Нет у меня пива, здесь нельзя... И денег у меня нет... Как это вру? Не вру. Вот завтра тебя выпишут, дома получишь пива». Позавчера такого же выписали: вылечить уже нельзя.

Санитары, увозя на каталке только что умершего:

— Поехали, родименький. Такой еще тепленький. Отдыхай, миленький.

Сегодня близко к нам умерло четверо; может, в отдаленных палатах умер кто-то еще, мы не видели.

Б. Хазанов пишет в рецензии на мою «Стенографию конца века»: «Порой его охватывает отчаяние» — и цитирует: «Посмотришь в зеркало. Ты старик на шестом десятке. Ты перенес кучу всяких болезней. Первая книга у тебя вышла в 51 год, богатства ты не нажил, успех относителен. Страна, в которой тебя уо-

раздило родиться, глубоко и безвылазно неблагополучна. И ты продолжаешь утверждать, что при этом можно непрестанно радоваться жизни, ощущать себя в этой жизни счастливым...?» Странно, что здесь он обрывает цитату, не дает продолжения: «...что с этим именно чувством просыпаешься каждое утро, с благодарностью за прожитый день засыпаешь?» Вот уж чего нет — отчаяния. Я и нынешнюю свою болезнь воспринял более светло, чем мои близкие... Может быть, слишком легкомысленно — пронесло действительно мимо большой беды (пока пронесло). Но, может, эта легкомысленная жизнерадостность помогла мне выбраться — отчаяние бы погубило?

В прозе можно подробно описать больничную палату, впечатления бессонной ночи после операции в реанимационном отделении, постоянную, без суетливости, деятельность персонала — но как это совместить с музыкой, которую я там слушал через наушники с плеера? «Вариации на тему рококо» П. И. Чайковского (компакт-диск подарил мне когда-то М. В. Ростропович — дивная музыка, изумительное исполнение).

Музыкальные завитушки
Куртуазный пастух и пастушка
Бело-розовые зефиры
Запах пудры пота и жира

Сквозь сиянье и трепет сцены
Вонь болезненных выделений
Медсестра принимает смену
Невесомая как виденье

Переливчатость дивной драмы
Пары мелко сучат ногами
Улыбаясь, уходит вбок
Врач-красавец как полубог.

Это, конечно, не для поэтического сборника — просто страничка из дневника. Но иначе этого смешанного чувства не выразить.

Додумать: палата реанимации и, скажем, лагерь беженцев. Где больше несчастных? Нужны не эмоциональные междометия, а деловитость профессионалов.

Стихи и проза

Один мой герой признается, что не может долго читать прозу. Многословная, недоделанная, непереваренная литература. Все можно выразить куда более сжато, емко. Он даже пытается проиллюстрировать свои слова собственными стихами — поэт с репутацией несерьезного графомана. Сочинять их пришлось для него мне самому — слегка над собой, конечно, посмеиваясь.

И между тем чем дальше, тем все серьезней, все заинтересованней поглядываю в ту сторону — задумываюсь о поэзии.

Поэзию, как известно, отличают от прозы не рифмы, не количество строк или ритмическая организация. Поэзией может быть и проза. Определить ее особое качество непросто. Мандельштам говорил о невозможности пересказать подлинно поэтический текст. Набоков писал о поэзии как способе познать тайны иррационального при помощи рациональной речи. Мне, прозаику, всегда хотелось стремиться к этому.

«Чему научается прозаик у поэзии? — писал в своем эссе «Поэт и проза» Иосиф Бродский. — Зависимости удельного веса слова от контекста, сфокусированности мышления, опусканию само собой разумеющегося».

Я этому старался учиться. Просматривая иногда заметки, наброски разных лет, сделанные, по обыкновению, на небольших листках бумаги, я все отчетливей сознавал, что многое надо еще до конца додумать, то есть более концентрированно, емко — в конце концов, адекватно выразить, проявить, оформить впечатление, мысль, чувство. Не до конца додуманное, оказывается, значило: не до конца оформленное.

Как поначалу пробные, черновые строки могут стать однажды поэтическим текстом? Вряд ли кто объяснит. «Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется»... — только и ответит поэт.

«Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит», — когда читаешь такое, слова кажутся уже существовавшими неизвестно где — услышанными, проявленными, запечатленными:

«На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег»...

Каково было, однако, прочесть потом в комментарии, что это всего лишь «необработанный отрывок». Как необработанный, как отрывок? В подтверждение приводился оставшийся в рукописи план продолжения:

«Юность не имеет нужды в *at home*, зрелый возраст ужасается *своего* уединения. Блажен, кто находит подругу — тогда удались он *домой*.

О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические — семья, любовь etc. — религия, смерть».

Да, ничего не скажешь, тут перед нами проза. Написано, вероятно, в июне 1834 года, когда Пушкин пытался выйти в отставку и поселиться в деревне. И сказано вроде о том же. Уехать бы в деревню. Ну, пусть чуть более поэтично: «перенесу я мои пенаты в деревню». Начинаться, значит, могло и так, у самого Пушкина. А потом вдруг: «На свете счастья нет, но есть покой и воля».

Как выразился бы Манделштам: «И вдруг дуговая растяжка звучит в бормотаньях моих». Вспышка, порожденная накопленным напряжением. Вначале было все-таки бормотание, непростой, иной раз долгий труд; надо было перечеркивать слова, перемарывать черновики — сколько их у Пушкина! — шевелить беззвучно губами, откладывая перо, корить себя за праздность...

«Как ни ломают голову, определения поэзии нет и не будет, - признавала Н. Я. Манделштам. — Нет также критериев, чтобы отличить подлинную поэзию от мнимой, суррогатной».

То же можно сказать и о прозе — о ее поэзии. Остается лишь изумление перед чудом, возникающим непостижимо. И постоянная попытка к нему приблизиться, с пером в руке что-то для себя проясняя, улавливая, укрупняя — чтобы на миг ощутить себя по-настоящему, полноценно живущим.

Усталые мысли

Вчера заглянул в дневник Хармса — жалобы 37-го года на творческую (и всякую вообще) импотенцию. «Никаких мыслей». «Я был наиболее счастлив, когда у меня отняли перо и бумагу и запретили что-либо делать. У меня не было тревоги, что я не делаю чего-то по своей вине. Это было, когда я сидел в тюрьме... Человек должен постоянно заниматься своим делом, чтобы быть счастливым». Бесперспективность, безденежье, голод. Нет, сравнений, конечно, даже быть не может. Мне просто кажется, что я не работаю: что-то читаю, думаю. И вдруг — рождаются какие-то строки.

В книге «Возрастная психология» рассматриваются разные типы «жизненного мира». Высшим, согласно одной из концепций, считается так называемый «сущностный жизненный мир». Все черты этого «сущностного» мира, находят, в частности, у М. Пришвина после 65 лет.

Я не раз обращал внимание на эту цифру: для многих она оказывается этапной. На Западе это, среди прочего, дата выхода на пенсию. Питирим Сорокин, выйдя в 66 лет в отставку с должности гарвардского профессора, ощутил, «что молодость, зрелость и пожилой возраст закончены, что я вступил в старость, которая со временем перейдет во мрак смерти» («Дальняя дорога»). Странно, что это чувство определяется всего лишь цифрой возраста, фактом отставки.

Что я могу ответить судящим мою «Стенографию»? Это не написанная мною книга, это фрагменты прожитой однажды жизни. Какая была. Отменить, переделать ничего нельзя, редактирование было бы ложью. В мемуарах я сумел бы позаботиться о большей взвешенности суждений — с высоты нового возраста, нажитого понимания; в дневниках я бываю несправедлив. Уже не исправь. Разве что сделать побольше купюр.

Все то же, который раз то же. Оглядываешься, сознаешь все острее, как был глуп, сколько натворил ошибок, как неправильно себя вел, неправильно жил — как о многом можно жалеть. Уже не исправить, не переделать — но переоценить, понять, изменить бы напоследок что-то в себе, додумать, осуществить то, чего не сумел раньше, так, как хотел бы.

Почему все никак не получается? Может, потому, что себя жалеешь, не допускаешь мысль до глубин болезненных, страшишься правды, как поражения?

Счастливого — несмотря ни на что, вопреки всему — мироощущение — совместно ли оно с этой правдой? Не обеспечивается ли оно поверхностным легкомыслием, нежеланием что-то признавать, видеть? Или есть некая полнота, включающая умственное понимание?

Я пишу это и вспоминаю, что почти буквально те же слова уже выводил на бумаге, те же сомнения оставлял без ответа. Но сейчас-то жизнь куда как серьезнее напомнила о неизбежной перепроверке.

«И великим негодованием негодую на народы, живущие в покое; ибо когда я мало прогневался, они усилили зло». Книга пророка Захарии, 1.15

Терезинские евреи

Великое человеческое дело делает Лена Макарова. Она по крупицам, по чудом уцелевшим остаткам, буквально из пепла восстанавливает, возвращает из небытия жизни, судьбы, личности бесследно, казалось, исчезнувших людей — обитателей Терезинского концлагеря. Помню, как лет уже пятнадцать назад она принесла мне и попросила перевести с немецкого два-три попавших к ней в руки письма погибшей там, почти никому не известной художницы и педагога Фриды Дикер-Брандейсовой. Теперь о Фриде написаны книги, ее сохранившиеся картины выставляются. В сознание людей возвращаются все новые имена. Это действительно стало делом Лениной жизни.

И вот она подарила мне книгу, в которой собраны дневники обитателей Терезинского концлагеря¹. Непростое для души чтение, надо бы написать об этом по-настоящему - я пока не готов. (Вспомнилось, как однажды ходил в одиночестве по жуткой территории этого лагеря — с чувством, что даже сейчас от долгого пребывания там можно сойти с ума). Запишу лишь, как странно вдруг соединились мысли — что-то поневоле переводилось на язык нашей жизни.

Оказывается, даже в концлагере люди вели дневники. Бытовые подробности, добыча скудного пропитания, склоки, болезни, слухи. Страх, постоянное чувство унижения перед надсмотрщиками, боязнь наказания. Споры сионистов и «ассимилянтов», заботы о воспитании детей, размышления о книгах, занятия искусством, живописью, музыкой, театром (там было даже кабаре). Член совета

¹ «Крепость над бездной. Терезинские дневники 1942—1945»

старейшин, сионист, еще лелеющий мечту попасть после войны в Палестину, обязан сам составлять списки людей, назначенных для отправки с эшелонам в Освенцим — и сокрушается, как это непросто: решать, кого посылать, по сути, на смерть, кому оставаться (пока) в живых. Девочка, прослушав оперу «Тоска», восхищается: как все-таки талантливы евреи, даже здесь способны заниматься искусством. Удивительный народ.

В самом деле, какой-то особый случай, пытался понять я. В Освенциме евреи становились такими же доходягами, как все заключенные. В Терезине просто собрали интеллигентов со всей Европы, позволили им на время пользоваться бумагой и красками, ставить спектакли, сочинять музыку, вести дневники.

И следом — вот ведь невольное сцепление - мысль: не были ли мы все, так называемая советская интеллигенция, кем-то вроде этих терезинских евреев? Тоже что-то имели возможность сочинять, заниматься искусством, рассуждать о высоких материях - поживаясь, когда из соседней квартиры кого-то опять уводили. А какой-нибудь Фадеев переживал, вынужденный визировать списки, кого-то старался вычеркнуть. Потом он, правда, мог на месяц уйти в запой, в Терезине такой возможности не было. И там трудней было считать это все-таки нормальной жизнью, находить для нее обоснования.

Осмыслить это до сих пор не вполне удастся.

Оптимизм или пессимизм?

Книгу П. Тейяр де Шардена «Феномен человека» выпустили у нас в 1965 г. под грифом «Для научных библиотек», т.е. для ограниченного пользования. Тогда же мне и попал в руки экземпляр. А написана она была еще в 1938—1940, послесловие добавлено в 1948 — при нынешних темпах развития науки очень давно. С новым интересом я заглянул в нее сейчас.

«На киноплёнке появляется пятно. Внезапно разряжается электроскоп. Этого достаточно, чтобы физика была вынуждена признать наличие в атоме фантастических сил». Сейчас, думаю, не назвали бы эти силы фантастическими. «Чтобы дать мысли место в мире, мне было необходимо интерпретировать материю, вообразить энергетику духа, представить себе в противовес энтропии восходящий ноогенез».

Я сразу же принял его концепцию ноосферы — объективной реальности, созданной человеком в процессе той же последовательной, неизбежной эволюции, что породила вслед за атмосферой биосферу, требовала постоянного усложнения. Вершиной развития стало появление человека и его мысли — теперь деятельность его мысли меняет саму планету. Землю покрывают искусственные сооружения, окружают, пронизывают новые энергетические поля, электромагнитные, радиационные; насчет «энергетики духа» можно пока лишь догадываться.

С точки зрения натуралиста, как называет себя палеонтолог Тейяр, новое развитие началось совсем недавно. «Во все эпохи человек думал, что он находится на «повороте истории». И, до некоторой степени, находясь на восходящей спирали, он не ошибался». Однако именно сейчас, по его мысли, «осуществляется глубокий вираж мира, способный смять его». Он пишет об оправданности тревог, которые мучают современного человека — и все-таки считает органической, естественной его способность не останавливаться, двигаться к какому-то предельному самораскрытию.

«Абсолютный оптимизм или абсолютный пессимизм. И никакого среднего решения между ними... Два и только два направления — одно вверх, другое вниз, и невозможно, зацепившись, остановиться на полпути... Жизнь, достигнув своей мыслящей ступени, не может продолжаться, не поднимаясь структурно все выше». Отказ от развития был бы губителен, пример некоторых восточных цивилизаций показывает, в какой тупик это может завести. «Мы смутно предвидим, что бессознательность — это своего рода неполноценность или онтологическое зло».

Читая это когда-то, я еще не задумывался о многом, как вынужден задумываться сейчас. Все более дают себя знать опасности, связанные с технологическим развитием, экологические угрозы; механизированный труд вовсе не поощряет массы людей мыслить, обогащая ту самую общую ноосферу, с которой связывает человеческое будущее Тейяр; высвобождающийся все более досуг тратится вовсе не для интеллектуальных занятий, как он предвидит, наоборот, для бездумного расслабления — и т. п.

Тейяр все сомнения опровергает опять же, как натуралист.

«Жизни требовалось полмиллиона, может быть, миллион лет, чтобы от предгоминидов перейти к современному человеку, а мы начинаем отчаиваться от того, что этот современный человек еще борется за освобождение самого

себя... Каждому размеру свой ритм». Человек не может не справиться со своими проблемами. Точнее — даже не человек, а человечество.

«Трудно сказать, имеются ли еще на Земле Аристотели, Платоны и Августины (каким образом это доказать? А, впрочем, почему бы и нет?..) Но ясно, что, опираясь одна на другую (будучи сведены в одно место или собраны в фокусе зеркала), наши современные души видят и чувствуют ныне мир, который (по его размерам, связям и возможностям) ускользал от всех великих людей прошлого».

Наверное. Вопрос лишь в том, как все-таки эти современные души (в том числе и мою) свести в одно место, собрать в фокусе зеркала — какого?

О плодотворности разногласий

По поводу моих недавних размышлений о все возрастающей раздробленности, дифференцированности культуры, о невозможности единого понимания. В журнале «Goethe\Merkur» несколько статей о новом времени, которое надо принимать, «как оно есть» — именно «как следствие процесса возрастающей дифференциации». Попытки «восстановить разрушенное единство или воплотить в реальность фантазии о единстве», — пишет один из авторов, — основаны на изначальном непонимании того, что «у истоков развития должен быть разрыв, а в его начале — разногласия». «Различные воинствующие движения против нового времени и модернизма едины в своем стремлении запретить именно то, что делает новое время и модернизм столь привлекательными: самокритику и внутренние разногласия, которые являются обратной стороной юмора и комичности».

Да, вот о юморе, самоиронии не надо бы забывать. «Антонимом к насыщенной разногласиями дискуссии является несостоятельность». Именно желание утвердить единую для всех истину можно считать одной из причин исторического отставания ислама и связанного с этим отставанием фанатизма. Истовая, мрачная серьезность бывает убийственной. Александрийская библиотека была сожжена по приказу правителя, заявившего, что миру достаточно одной книги — священной. Европа, еще недавно прозябавшая по сравнению с цветущим арабским миром, переживала тем временем Возрождение с его географическими открытиями, новым представлением о космосе, переосмыслением мира, расцветом науки, техники, разнообразных искусств. В современной

исламской культуре невозможна самокритика; попытки свободомыслия, переосмысления, переоценки ценностей и догматов подавляются весьма жестоко, «еретика» могут убить. Вместо открытого будущего — ориентация только на прошлое.

Развитие современного мира все более проблематично, чревато угрозами и рисками — но без проблематичности, без рисков не было бы развития. Остановить его нельзя, можно и нужно лишь корректировать, постоянно разрешая все новые проблемы, находя себе место в разрастающемся, необъятном разнообразии. Каждый в отдельности может и должен противопоставлять неприемлемым представлениям свою, выработанную пожизненным усилием систему ценностей — так поддерживается доброкачественность живого, многоэлементного, самонастраивающегося процесса. Но не может быть возврата к утраченной простоте, строгости нравов и пр. Попытки реализовать инфантильные, «идеальные» утопии оказываются губительными (так возникали тоталитарные режимы). Серьезность без иронической поправки, без открытости диалогу делает человека ограниченным, закостенелым; в худшем случае самые добрые намерения могут обернуться фанатизмом.

Зола и пламень

Среди страниц дневника были заложены листочки с выписками без даты, захотелось их вписать в дневник. Листочки я откладываю, потом в них не заглядываю, дневник иногда просматриваю — имеет смысл это себе напоминать.

«Нет худшего несчастья, чем не знать того, что для тебя является достаточным». (Лаоцзы, 46)

«Неуверенность, всегдашняя причина неудач в практической жизни — прямой, иногда единственный источник какого бы то ни было внутреннего богатства». (Эмиль Мишель Чоран. «Разлом»).

Стоило бы, наверно, уже отказаться от стенографии. Записываю иногда, может, что-то достойное внимания, и неизвестно, будет ли время и желание расшифровать эти закорючки.

Стал просматривать записи, оставшиеся нерасшифрованными — и отложил. Хочется заняться чем-то более питательным. При всех сокращениях — сколько забытых подробностей, их все больше и больше; но вот работа подходит к концу, и видишь, что долгая уже жизнь укладывается не более чем в стопку бумаги. Ну, пусть добавится еще стопка-другая — как обозримо, ограничено, то есть, конечно. Ну, что есть, то есть, большее — уже за пределами написанного. Вечером читал понемногу книгу «Лаоцзы» (там есть мой перевод из Hesse), и наткнулся на замечательную сентенцию Чжуанцзы: «Для рук, заготавливающих хворост, наступает предел. Но огонь продолжает разгораться, и есть ли ему предел — неведомо».

По удивительному совпадению, записав минуту назад эти строки, раскрыл том Борхеса на стихотворении «Джеймсу Джойсу» — наугад — и прочел:

И вот создания наших рук — зола,
Но распаленный пламень — наша вера.

С поправкой на «художественный» русский перевод — переключка, похожая на почти буквальную цитату.

Хаос и музыка

Открыл по рабочей надобности 3-й том А. Блока и неожиданно зачитался «Возмездием». «Семейную» историю, которую он тут хотел рассказать, я сейчас не вполне воспринимаю, она скорей для прозы, но характеристика времени, девятнадцатого и начала двадцатого века местами замечательны.

Мандельштам, помнится, говорил, что девятнадцатый век был, может быть, нашим золотым веком. А тут: «Железный, воистину жестокий век» — и дальше по пунктам. «Двадцатый век... Еще бездомней, еще страшнее жизни мгла».

Это о годах, которые сейчас с ностальгией называют Серебряным веком.

Есть своя правда и в том, и в другом.

Как понять, ощутить свое время изнутри? Оно всегда противоречиво, складывается из радостей и трагедий, из очарования и разочарований, из житейских впечатлений, мелочей и стихийных потрясений Блок в предисловии перечисляет мелочи, из которых складывалось ощущение времени в 1910—11 годах,

когда писалась поэма: смерть Комиссаржевской, Врубеля, Толстого, которые ему показались этапными событиями, убийство Ющинского (дело Бейлиса), необычайная жара, забастовка в Лондоне, «знаменательный эпизод Пантера-Агадир» (пришлось заглянуть в комментарий, чтобы вспомнить: речь шла о заходе германского крейсера в марокканский порт, который вызвал напряжение между Германией и Францией), «расцвет французской борьбы в петербургских цирках», мода на авиацию, убийство Столыпина... «Все эти факты, казалось бы, столь различные, для меня имеют один музыкальный смысл».

Стоит подумать. (Правда, когда он пишет, что «выражением ритма того времени... был ямб» — спрашиваешь себя: почему?)

И я ведь, как многие, думаю об ушедшем, двадцатом веке, почти две трети которого прожил подробно, на своей памяти, о действительно новом двадцать первом веке, с новыми угрозами, вряд ли предсказуемым будущим, «новой музыкой». Я думаю об этом, пробуя осмыслить новейшие концепции хаоса. Мне обобщенная концепция пока не дается. Возможно, она сама собой складывается из таких вот разрозненных стенографических записей.

В журнальной статье памяти Нобелевского лауреата Ильи Пригожина излагаются некоторые его выводы. «Хаос может быть конструктивен — он порождает новый порядок и не ведет к потере гармонии». «Вся эволюция органического мира — это диссипативный процесс (диссипация — рассеяние), ведущий к постоянно возрастающей сложности». «Сложность в природе невозможно свести к некоему принципу глобальной оптимальности. В своей погоне за сложностью природа занимает более прагматическую позицию, в которой существенную роль занимает поиск устойчивости». Известно, что модели Пригожина, позволяющие описывать явления и процессы, которые не вписываются в детерминистические представления, приложимы и к физике, и к биологии, и к социологии, и к истории.

В статье «Переоткрытие времени». Пригожин цитирует историка Марка Блока о том, как меняется в наше время понимание истории, о трансформации самого «ремесла историка»: «Как серьезное аналитическое занятие история еще совсем молода». То же самое Пригожин пишет о переменах в самой точной, казалось бы, науке, физике. «Идеи по поводу детерминизма систем... показали после 1960 года свою полную несостоятельность». «По ту сторону феноменального мира следует искать вневременную по сути истину, отрицающую как необратимость, так и событийность».

Профаны пока не осознают и уж во всяком случае не понимают этих еще не вполне ясных, глобальных перемен, но по сути чувствуют, что барахтаются в каком-то непонятном, бурлящем потоке. Есть ли у него направление, можно ли его уловить, хоть в какой-то мере предвидеть? Блок писал о музыке происходящего. Тейяр де Шарден писал о движении к некой точке омега, для него было очевидно, что развитие ведет ко все большему усложнению, и это внушало ему оптимизм.

Я возвращаюсь к мыслям, над которыми давно задумываюсь. Я думал об искусстве как преодолении хаоса — но это не упрощение, если хаос порождает новый порядок и не ведет к потере гармонии. (Современное искусство — тоже об этом). Я думал, что простая социальная система, вроде коммунистической, может оказаться долговечной, устойчивой — к счастью, ошибся; иначе, видимо, быть не могло. Пригожин (как до него и Тейяр) показывает, что сложные системы устойчивей. Стремление вернуться к счастливой первобытной простоте (которое демонстрируют некоторые фундаменталистские течения) ведет к отсталости. Искать некую единую — объединяющую — систему ценностей (глобальную оптимальность) непродуктивно и невозможно. Приходится устраиваться в этом все более сложном, дифференцированном мире, обживать частный пяточок, не надеясь на всеобщность. Всеобщими могут быть моды, экономические законы, законы природы, наконец. Но даже единая религия вряд ли возможна. А существующие лишь кажутся одинаковыми для всех адептов, всякий находит в общей религии свое.

«Но ты, художник, твердо веруй в начала и концы», — на ту же тему. Блок еще исходил из того, что «в каждом дышит дух народа». Кто сейчас может так сказать о себе? Не думские же депутаты. Что такое дух, что такое сам народ? Даже руководителям стран лишь может казаться, что они направляют события — история, как всегда, возникает из столкновения разнообразных противоречивых сил. Но общее направление в результате складывается статистически, как в физике оказывается направленным хаотическое мельтешение частиц. Поэт неопределенно говорит о «музыкальном смысле».

Бесформенны ли облака, переменчивые, неуловимые, неопишуемые? Они лишь случайно могут оказаться похожими на понятную форму.

Но есть ли что прекрасней этой бесформенности?

Мы выискиваем в этой бесформенности красоту. Как выискиваем (создаем) смысл в жизни.

Элиты и массы

Заголовок книги Кристофера Лэша «Восстание элит и предательство демократии» отсылает к «Восстанию масс» Х.Ортеги-и-Гассета. По мысли Лэша, сейчас происходит не столько «восстание масс», сколько «восстание элит» — против ценностей, которыми они не так давно дорожили; массы же, напротив, становятся консервативной силой. «Элиты утратили точку соприкосновения с народом». Принцип свободы в культуре и жизни не соотносится с другими принципами: авторитета, традиции, долга, это ведет на путь вседозволенности и цинизма. Каждый имеет право на «свободу для себя». «Сегодня уже невозможно воскресить те абсолютные истины, что когда-то, казалось, давали прочные основания для возведения надежных умственных построений». «Изначальное отвержение авторитетов и объективного порядка ценностей, — пишет рецензент, — превращает культурный процесс (чем дальше, тем больше подминающий под себя религию) в самотек, в условиях которого человек оказывается в слишком большой зависимости от непосредственной окружающей его среды и складывающихся обстоятельств. С ослабленным внутренним стержнем каждый плывет туда, куда его несет, а кто «посмелее», еще и подгребает по течению».

(Мне вспомнился сон из моей повести «Конвейер» — что-то похожее:

«Не надо ничего понимать, только поддаться, плыть куда-то в общем потоке. Движению не требуется даже помогать, шевелиться. Несет и несет, вместе со всеми, дальше и дальше. Плавно. Ни вращающихся колес, ни перемен вокруг, ни шума ветра в ушах — одно лишь чувство движения. Мягкие прозрачные пузыри колыхались рядом. Внутри коричневых вод созревали, улыбались зародыши. Чувство сладкого головокружения. Кругом что-то лопалось, бормотало. Не надо ничего выяснять, и спрашивать некого. Головы возникают среди пузырей, бритые и волосатые, в египетских уборах, чалмах и тюрбанах, рыцарских шлемах и армейских касках... Берега покрыты использованной шелухой. В заводи пахнет тиной или брожением, тут зарождается что-то новое, а задержаться нельзя».)

Западная культура все более терпима к тому, что прежде называлось аморальным и наказуемым. Священники благословляют гомосексуальные браки, в Голландии легализовано употребление наркотиков, в Дании, по сути, узаконена педофилия, родители не возражают против изучения в школах порнографии («надо объяснять детям реальный мир»). Между тем, в Саудовской Аравии приговорили к смертной казни шведскую парочку (или только женщину), занимавшуюся любовью в автомобиле, на улице. Мусульманский мир противопоставляет Западу свои моральные представления — и все более агрессивно стремится распространить эти представления на весь мир. Похоже, что вырождению, расслабленности и упадку противостоит набирающая силу витальная «пассионарность». Демографическая тенденция работает в ее пользу.

Но не случайно, что этот свободный, разнообразный, все более терпимый мир создает все более процветающую цивилизацию, добивается успехов в науке, технологии, наращивает благосостояние — и, между прочим, подкармливает часть мира, закосневшую в своих представлениях, отвергающую модернизацию, неспособную к ней (не просто в силу исторической ситуации — по внутренней сути).

Вспоминается и другое: морализаторство тоталитарных режимов, которые искореняли проституцию, сажали за гомосексуализм, уничтожали душевнобольных, сжигали вредные книги, запрещали «выродившееся искусство», пропагандировали «крепкую семью» и т. п. Не буду сейчас обсуждать сомнительность их собственных ценностей, лицемерие, преступную практику.

Надо бы продумать, как соотносится процветание со свободой, многообразием, отказом от традиционных запретов, насколько полноценно существование людей в этой цивилизации, делает ли она их действительно счастливыми — и какие у нее перспективы. Требуется постоянная корректировка, сопротивление хотя бы немногочисленных людей, продолжающих хранить, культивировать и обновлять систему ценностей, необходимых для общего выживания.

Нет общечеловеческой единой культуры, есть множество разных, разобщенных, мало знающих друг о друге культур, национальных, племенных, религиозных. Есть культура примитивных охотников за головами и культура технократического общества. Есть неисчислимое множество мелких и мельчайших субкультур, профессиональных, возрастных, конфессиональных. Субкультура подростковая, молодежная, субкультура спортивных фанатов, субкультура компьютерных специалистов — перечислять можно бесконечно.

Ловлю себя на смущении: возможен ли для такой разногласицы нечто вроде общего интеграла, общее понимание, общий язык? Ответ выглядит, как ни странно, простым. Общее для всех — рождение и смерть, необходимость сохранения и поддержания жизни, а значит, любовь мужчины и женщины (то, что не служит продолжению рода, можно считать отклонением). Общее — болезни, страдания и здоровье. Общее — небо над головой, солнце, звезды. Общая земля во всем ее разнообразии. Интеграл, можно сказать, бытийный — но он же определяет совместимость, взаимопонимание культур.

По поводу моих недавних размышлений о все возрастающей раздробленности, дифференцированности культуры, о невозможности единого понимания. В пришедшем вчера журнале «Goethe/Merkur» несколько статей о новом времени, которое надо принимать, «как оно есть» — именно «как следствие процесса возрастающей дифференциации». Попытки «восстановить разрушенное единство или воплотить в реальность фантазии о единстве», — пишет один из авторов, — основаны на изначальном непонимании того, что «у истоков развития должен быть разрыв, а в его начале — разногласия». «Различные воинствующие движения против нового времени и модернизма едины в своем стремлении запретить именно то, что делает новое время и модернизм столь привлекательными: самокритику и внутренние разногласия, которые являются обратной стороной юмора и комичности».

Да, вот о юморе, самоиронии не надо бы забывать. «Антонимом к насыщенной разногласиями дискуссии является несостоятельность». Именно желание утвердить единую для всех истину можно считать одной из причин исторического отставания ислама и связанного с этим отставанием фанатизма. Истовая, мрачная серьезность бывает убийственной. Александрийская библиотека была сожжена по приказу правителя, заявившего, что миру достаточно одной книги — священной. Европа, еще недавно прозябавшая по сравнению с цветущим арабским миром, переживала тем временем Возрождение с его географическими открытиями, новым представлением о космосе, переосмыслением мира, расцветом науки, техники, разнообразных искусств. В современной исламской культуре невозможна самокритика; попытки свободомыслия, переосмысления, переоценки ценностей и догматов подавляются весьма жестоко, «еретика» могут убить. Вместо открытого будущего — ориентация только на прошлое.

Развитие современного мира все более проблематично, чревато угрозами и рисками — но без проблематичности, без рисков не было бы развития. Оста-

новить его нельзя, можно и нужно лишь корректировать, постоянно разрешая все новые проблемы, находя себе место в разрастающемся, необъятном разнообразии. Каждый в отдельности может и должен противопоставлять неприемлемым представлениям свою, выработанную пожизненным усилием систему ценностей — так поддерживается доброкачественность живого, многоэлементного, самонастраивающегося процесса. Но не может быть возврата к утраченной простоте, строгости нравов и пр. Попытки реализовать инфантильные, «идеальные» утопии оказываются губительными (так возникали тоталитарные режимы). Серьезность без иронической поправки, без открытости диалогу делает человека ограниченным, закостенелым; в худшем случае самые добрые намерения могут обернуться фанатизмом.

Прочел рассуждения бойкого журнального автора о свободе — и мысленно противопоставил им слова Мандельштама о подчинении «организующей» идее: в награду за абсолютное подчинение она дарит личности абсолютную свободу. Мне эта мысль казалась важной, я цитирую ее в эссе «Определения свободы» вместе со словами Франка: только служба Богу и подчиняясь ему, человек осуществляет свою свободу.

И вдруг устами мысленного оппонента с усмешкой себе возразил: но не так ли могут сказать о себе нынешние исламские фанатики, готовые взорвать себя вместе с десятками неповинных людей ради служения своей идее, своему Аллаху? Это, значит, свобода?

Надо еще подумать.

Надпись на бетонной ограде у железнодорожных путей:

Мой папа Аллах, а мама овца,

Хочу довести я ваш мир до конца.

Шум времени

Несколько дней, проезжая, наблюдаю за разборкой мухинской скульптуры «Рабочий и колхозница». Сначала без голов, потом без рук, на фоне вечернего неба, она обретала черты все более значительной, по-настоящему современ-

ной пластики. Сейчас от женщины осталась только нижняя часть. Фантастическое зрелище.

Файбусович написал мне, что в Мюнхене обсуждали его книгу «Миф Россия»: насколько она сохранила актуальность? Книжка вышла по-русски в 86-м году, по-немецки еще раньше, т. е. лет 20 назад. Я ее прочел году в 88-м, высоко оценил, при этом некоторые ее положения показались мне самоочевидными, некоторые теряющими актуальность. После 91-го года показалось, что этот миф вообще все больше становится достоянием истории. Сейчас взял полистать — увы, тематика неожиданно возвращается, самоочевидные вещи приходится повторять.

Позавчера по ТВ Явлинский излагал тезисы своей новой книги «Периферийный капитализм». (Уже сбивается память: может быть «Провинциальный капитализм»? Так не хуже). Главный тезис: в России происходит *рост без развития*, так же, как в странах третьего мира. Развитый мир интересуется не цена, не количество, а качественное содержание, интеллектуальная насыщенность (это уже мой пересказ), высокие технологии и т. п. Развивающиеся страны обречены остаться развивающимися навсегда. Лет 15 назад Файбусович говорил мне, что так думают на Западе о России. Явлинский, как я понял, считает, что шанс прорваться еще есть, хотя время уходит. Но это проблема комплексная: развитие невозможно без демократической организации общества, без независимого суда, независимого парламента и т. д. Вещи, в общем, тоже известные, но сформулировано с убедительной четкостью. Рост без развития — эта формула должна быть воспринята, принята к сведению — если люди у власти заботятся о перспективе.

Безрадостное чувство. Меня это уже не так близко касается, доживу в этой стране. Что придется решать детям? По ТВ показывали украинскую новинку: местного производства мобильный телефон размером с видеокассету. Работает. Можно считать символичным. Не говорю о крайностях: в одной передаче показывали человека, который живет на отшибе, не моется тридцать лет, (камера показывала: буквально заросший грязью, наверно, и пахнет от него), дает этому какие-то обоснования; питается картошкой с огорода и свекольным отваром, который заготавливает на зиму; хлеб ему приносят из соседней деревни. Может, и в других странах есть такие особи, не знаю.

Один участник теледискуссии сказал, что в Нигерии столько же лауреатов Нобелевской премии по литературе, сколько в России. Надо проверить.

Вчера по ТВ думский депутат, отвечая на вопрос об аресте миллиардера Ходорковского, сказал: все естественно, состоялся термидор, начинается реставрация. Я усомнился в своей памяти: почему такое сравнение? Взял с полки три книги Манфреда о французской революции и Наполеоне, полистал... Нет, конечно, аналогии всегда относительно. Термидор, как и революция до него — это было все-таки непрерывное гильотинирование. Но я зачитался некоторыми подробностями, характеристиками. Из чего складывается история! Из благих намерений, корысти, бессилия и насилия, нелепостей и подлостей, лжи и жестокости. Если бы в самом деле можно было без этой истории обходиться, покончить с ней, хотя бы думать о чем-то более достойном! Но ее подробности оказываются подробностями нашей жизни.

В «Новой газете» открытое письмо президенту, где ему задаются очень резкие вопросы по поводу Чечни. Почему никак не закончится война, не начнутся переговоры, пропадают бесследно деньги?.. Вообще газета полна самых мрачных оценок и предсказаний неизбежной «третьей чеченской войны». Опровергнуть ничего нельзя, подтвердить может время (или достоверная информация). Но ощущение от многого бывает противноватое.

А вечером телевизионные новости усугубили чувство тоскливой пустоты. Краснодарские коммунисты затеяли сбор средств на поддержание мумии Ленина в надлежащем состоянии. Художники-концептуалисты устроили на водохранилище свой сбор Клязьма-арт. Один раскрасил стволы берез красной краской, другой одел стволы в национальные наряды, это должно что-то значить. Целая группа художников открыла фестиваль акцией: из трусов вылетели вверх петарды. Певица Мадонна с подругами устроили сенсацию: целовались на эстраде, изображая из себя лесбиянок. В Москве проходит фестиваль северокорейского кино, на экране медсестра скальпелем убивает врага, остальных раскидывает приемами восточных единоборств. Зрительницы, московские кореянки, с умилением вздыхают о Ким Ир Сене: какой он был человечный, какой добрый! Кореянки участницы фестиваля рыдали в истерике: плакат с изображением их вождя был повешен слишком низко и не очень ровно, это было для них оскорблением. Американцы ведут с Пхеньяном переговоры, убеждают корейцев не создавать атомную бомбу, те ставят условия: вот если заключат договор, окажут экономическую помощь... Исполнилось 80 лет знаменитой блатной песенке «Мурка», сейчас ее исполняют с стиле рэп. Автобус врезался в грузовик, много погибших. Новый молодой чемпион мира никак не хочет

встретиться с Каспаровым, объявили новый турнир. Когда-то во время матчей по ТВ показывали и комментировали шахматные партии, сейчас интересуются только скандалами, гонорарами, в шахматы, кажется, никто не играет, я даже имени этого чемпиона не запомнил. Что было еще? Наш президент приехал в Италию. В Челябинске осквернили мусульманское кладбище. Очередное убийство в Дагестане. Вот новости дня, о которых сочли нужным рассказать. Странная какая-то психология больных, полудиотов — такое нагнетается ощущение.

По ТВ отмечали юбилей покойного Че Гевары. Говорили о легендарной личности, о необыкновенном человеке, который не стал нежиться на пуховиках, достигнув вершины власти, почестей и благополучия, отправился сражаться дальше, в Боливию, где и погиб. Человек, у которого можно поучиться желающим жить яркой, активной жизнью. За что сражался Че, что хорошего сделал для боливийских крестьян, вообще для всех — всерьез не обсуждается. Известно, что натворили его сотоварищи с Кубой, откуда с риском для жизни люди пытаются до сих пор убежать. Может быть, счастье, что он не успел натворить большего.

Объяснить это поклонникам, надевающим значки и майки с изображением культового революционера, бесполезно. Не содержание важно, существенна потребность, запрограммированная в крови, в генах определенного процента не перебродивших молодых людей. Как определенный процент людей неизбежно будет воспроизводить склонность к насилию, буйствам, преступлениям. (И человеческому обществу, наверно, нужны клапаны разного рода, чтобы спускать избыточное давление).

Нас в свое время учили восхищаться революционерами — но теоретически. Самим — ни-ни.

На эскалаторе метро к каждому светильнику приклеено по крохотной листовке АКМ («Акция красной молодежи»). «Революция будет!», «Мы победим!», «Доллар рухнет!». И какие-то проклятия Макдоналдсу, крохотные карикатурки.

На телеэкране мелькает неохватный калейдоскоп мира, шум в голове, в себе всего не соединить. Можно лишь попробовать, как блюда разнообразнейших кухонь, но собственной, своей жизнью это не становится. Жизнь не столько разнообразится, сколько размельчается. В юности об этом мечталось, с возрас-

том все важней сосредоточиться, ненужное пропустить мимо — разве что ради справки, ради сравнения с тем, что считаешь своим.

В «Иерусалимском журнале» повесть И. Берковича «Свобода» и рассказы Л. Левензона. Еврей в Канаде, еврей в Таиланде, еврей в Израиле. Нигде не могут чего-то найти. Может быть, себя. Пожалуй. И ведь сбылись подростковые мечты: открытый, разнообразный мир, все нации, все кухни. Ни с чем нет внутреннего соприкосновения. Внутри пустота. Можно ли найти что-то вовне? В Канаде арабы, курды, латинос, китайцы живут тоже не совсем своей жизнью. В чужом мире. Не отношения, не любовь — несущественные соприкосновения.

(Перуанское мясо под тайландским соусом. Мир в эпоху глобализации).

Оставить на глобусе точки в местах своего пребывания
Технически не сложнее, чем мухе. По всемирной сети
Сообщается адрес, куда приглашают слететься,
Потанцевать, побить стекла, выражая протест
Или солидарность с теми, кто вправе нас ненавидеть.
Тут же советы, как оживить выброс адреналина,
От дома не удаляясь, мифология на сегодня,
(Ритуалы, игры, татуировка, выбор по каталогу),
Возможности кейфовать наяву, сокрушать мировое зло,
Предотвращать катастрофы нажатием клавиш, отодвигая
Возвращение в неизбежный сон, где снова надо искать
Способы заглушить тоску. От этого не укрыться.
Время все набирает скорость. Подростки стареют,
Не успев повзрослеть. Новинки прошлой недели
Свалены на блошином рынке вместе с игрушками детства,
Словарями исчезнувших языков, вчерашней аппаратурой,
Смысл которой забыт. Художник подыскивает объекты
Для инсталляции «Новый век». Должен возникнуть образ
Россыпи или осыпи, нарастающего навала. При этом
Хорошо залепить бы пощечину вкусу общества —
Если только найдется щека.

Свое и чужое

По дороге в лес встретилась группа китайцев. (Я часто вижу, как они собирают на лугу, на полянах, у самой железной дороги какую-то траву). Попутный старичок кивнул на них.

— Черные прошли.

— Какие, — говорю, — черные? Китайцы.

— Они у нас все захватывают.

— Ну уж! Не замечал.

— Плохо, что не замечали. Скоро станут у нас господами.

— Они хорошую капусту выращивают, салаты. Мы у них покупали. Чего же тут плохого?

— Говорят: вы бы без нас с голоду скоро подошли. Наша молодежь, она ведь спивается.

— Вот это, — говорю, — плохо.

Он уже почувствовал, что согласного собеседника во мне не найдет, свернул на другую дорожку. Но такие разговоры ведут между собой подолгу, всюду. Тем хватает, мнение общее, согласие обеспечено.

В немецком журнале «Kulturchronik» наткнулся на фразу Имре Кертеша, последнего Нобелевского лауреата, пережившего Освенцим: «По-настоящему иррациональное и в самом деле необъяснимое — это не зло. Наоборот: это проявление доброты». Над одним этим стоит подумать. Зло можно вывести из прирожденной, биологической агрессивности (по К. Лоренцу), добро (доброта) — из области духовного? Но материнский инстинкт тоже можно считать биологическим, у животных встречается и альтруизм, и доброта вне рациональных объяснений. Стоит подумать.

Речь американского философа и германиста, австрийского еврея-эмигранта Джорджа Стейнера при получении премии Бёрне. Евреи, по его мысли, вечные изгнанники, чужаки. Древнегреческое «ксенокс» означает, кстати, и «чужак», и «гость». «Еврей, так сказать, по определению — гость на этой земле,

гость среди людей. Его предназначение заключается в том, чтобы служить человечеству примером этого состояния». (Подумалось: к Мандельштаму это, пожалуй, подходит, он был бездомным не по своему желанию. А вот Пастернаку нужен был дом, письменный стол, чтобы работать. Может быть, поэтому он уходил от еврейства, тяготился навязанной чужеродностью. А я? Я тоже, пожалуй, лучше всего чувствую себя дома, не хотел бы его менять.)

Теперь у евреев появился, наконец, дом — Израиль, они за него держатся, здесь они хотят остаться оседлыми, не чувствовать себя чужаками. Стейнера смущает, что необходимость жить во враждебном окружении вынуждает защищаться, убивать, «мучить и унижать своих соседей». «На протяжении двух тысяч лет преследований, массовых убийств, геноцида, гетто евреи никогда не унижали других людей, не мучили их... Лишил ли Израиль еврейство его нравственно-метафизического благородства?»

Между прочим, автор с удовольствием пишет, как «Лев Давидович Бронштейн, называвший себя Троцким», декларировал, «что границы существуют лишь для того, чтобы их преодолевать». Знает ли он про «красный террор», который не просто декларировал, но осуществлял Троцкий? Ох, что-то тут нуждается в перепроверке...

Вчера вечером взял книгу «Евреи и XX век», посмотрел главы об (ультра)традиционализме, сионизме, некоторые другие — возникло чувство, что еврейская нация заново оформляется, осознает себя именно в этом веке. В XIX произошел выход из гетто, приобщение к мировой культуре, стала массовой ассимиляция — драматический процесс, сопровождавшийся антисемитизмом, сопротивлением традиционалистов, возникновением сионизма. Все заставила переосмыслить Катастрофа, возникновение Израиля, население которого во многом условно можно пока считать одной нацией. Я только начинаю для себя открывать и осмысливать вещи общеизвестные.

Но тут же подумал о русской нации. Она осталась неоформленной по-другому. Эта молодая нация (немногим старше украинцев и белорусов) более-менее стала оформляться в XIX веке. До этого было больше заимствований, культурный слой и масса народа говорили на разных языках. (XIX век вообще век национальной идеи). Революция исказила этот процесс — может быть, безвозвратно. Мир, начиная, во всяком случае, с Америки и Европы, теперь все больше уходит от национальной идеи. Наступает век глобализма.

Евреи, которые внесли действительно великий вклад в современную цивилизацию и создали модернизированное демократическое государство — это были ассимилированные евреи. Религиозные ортодоксы так же отвергли бы (и отвергают) модернизацию западного образца, как ее отвергла и мусульманская теократия.

Сезонники откуда-то с Кавказа, в оранжевых безрукавках дорожных рабочих, присели отдохнуть в тени.

— Когда, наконец, взорвется эта Москва? — сказал один нам в спину.

— Завтра, — откликнулся другой.

— Вот хорошо бы!

А ведь приехали сюда зарабатывать. И говорят по-русски — для нас.

Вспомнилось, как зимой в подземном переходе приятель подошел к торговцу, у которого мы только что купили мандарины: «Все разобрали русские свиньи?»

Праздные мысли на берегу

Мы шли вдоль моря и вспоминали: «Золотистого меда струя из бутылки текла». Провинциальный Крым. «Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла, мы совсем не скучаем». Ощущение полноценной жизни. (Полноценное ощущение жизни). «Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни».

Много ли надо, чтобы возникла гениальная поэзия?

Но почему-то не обитатели «печальной Тавриды» создали эти несравненные стихи. Нужно было оказаться приезжим из столицы, издерганным горожанином. Русскую провинцию, по крайней мере, надо было покинуть, чтобы ее воспеть.

Второсортная, второстепенная, второй свежести. Жизнь, мысль, осетрина. Об осетрине так сказать можно, а о жизни, о мысли?

В заурядном произведении может сверкнуть замечательная строка, деталь, образ, подсказка ищущему уму. Гении усваивали, перерабатывали, если угодно, массовый навоз, питались его веществом. А заурядные эпигоны, в свою очередь,

перерабатывали созданное гением до состояния, которое проще усвоить. Гениев не всегда понять, особенно при жизни. Одними гениями не проживешь.

Не гений, слава Богу. Проще жить
Не надрываясь, вровень с остальными,
Которым ты понятен. Пропитанье
Надежней, жизненные наслажденья
Доступней без запросов. Для детей
Сомнительное наследство — имя,
Сопоставление с которым непосильно.
От прочего их бережет природа.
Она без надобности не плодит
Тех отклонений, что сродни болезни.
Основа жизни — норма. Кто взыскует
Высот духовных, по ее подсказке
Приходит в монастырь. Растволковать
Не сразу ясное, разбавить в меру
Для общего употребленья — этим
Со временем займутся. Будут вправе
Гордиться, как законным превосходством,
Сознанием сопричастности.

На песке обширные стаи чаек, все тела повернуты в одну сторону — клювами к ветру.

Анапа, на берегу моря, читая Бродского.

Представь жизнь в стране, где с голода не дадут умереть,
Не оставят без крова над головой. Тут и начнется тоска,
Недоумение, скука. Начнешь рассуждать
О смысле или бессмысленности. Чем же еще заняться?

Мыслю — значит, существую, — сказал философ. День без единой мысли — считай, прожит впустую.

Почему не сказать: день без сделанной работы? Без единого события? Событие отозвалось бы мыслью.

Но можно запечатлеть: песчаный берег, чайки, прибой, мы лежим в дюнах, поросших туей, загородившись ими от ветра. Галя рисует, я читаю Pessoa и Бродского. Утро с ней. Пять километров вдоль берега. Виноград с хлебом — обед. Дельфины, песчаные скульптуры. И вино вечером. И мысль об этом.

Мыслю — значит, я существую, — вспоминаешь философа,
Сидя с удочкой в камышах. Дрогнул ли поплавок,
Ветерок ли смутил гладь воды, ничего не знача?
Не клюет целый день. В голове ни единой мысли,
Если не считать вот этой, не додуманной внятно,
Несущественной, как на поверхности рябь,
Второсортной, второстепенной, как можно сказать
О заурядных стихах. Скажешь ли так о жизни?

Завершился международный конкурс на лучшую песчаную скульптуру. Песок оползает на глазах. Сохраним навеки. Вечная память. Сфинксы теряют по песчинке в сто лет, но тоже ведь выветриваются. Как горы.

Галерея скульптур. Тема: «Вечность».
Материал: песчаник или песок.
Степень плотности не имеет значения,
Как и меры объема, веса,
Единицы времени или таланта,
Не говоря о подписях. Ветерок
Выдувает где песчинку-другую,
Добавляя оспин в лицо, где осыпет
Сразу струйку. Материал возвращается
Дюнам или пустыне.

Со всем можно смириться. Собственная смерть неизбежна, к этому придется привыкнуть. Тем более, есть шанс, что это еще не конец, некоторые утверждают, что после смерти можно как-то продолжить существование, пусть хотя бы в виде неопределенной энергии, растворяющейся среди других. Какой-то смысла в этом можно вообразить. Что-то все-таки остается. Ладно, пусть и самой нашей планете рано или поздно придет конец, она остынет. Останутся другие — догадаемся, придумаем, как перебраться.

Но вот недавно ученые, оказывается, предположили, что через 23 миллиарда лет прекратит существование сама Вселенная. Как возникла она однажды в результате Большого взрыва, так и кончится. Лопнет. Совсем исчезнет.

Это уже совсем невыносимо. Зачем же тогда все? Зачем стараемся, что-то надеемся после себя оставить — если не будет никого? Всего через 23 миллиарда лет!

Увидел это лишь, так сказать, в профиль — и думаешь, что недоступную взгляду сторону уже представляешь.

Вернувшись

Назвать ли «кризисным» мое нынешнее творческое состояние? Чувство, что возраст, опыт дал мне новое понимание — и неспособность выразить его действительно полноценно, мощно. Верлибры и дневниковая эссеистика лишь намекают на что-то, что мне мерещится. Биографии композиторов напомнили мне, как связаны музыкальные взлеты с жизненными переживаниями. Я переживания как бы от себя отстраняю. Вокруг миллионы нищенствуют, замерзают, спиваются, преступность на всех уровнях небывалая, тебя могут обокрасть, избить на улице, просто убить, другие в это время хамски прокручивают и прожигают добытые преступлениями миллионы... — не буду перечислять все приметы нынешней жизни, вплоть до терроризма. А я напоминаю себе, что прежде жил во времена не менее страшные, изменить ничего не могу, не надо стыдиться, если сумел пройти эти времена невредимым, не запятнавшись. Дети вроде бы неплохо ощущают себя в этой жизни. Но чего же я не могу ухватить, передать? Перечитывал Пастернака: страшная история, как и личная жизнь,

для него сродни природным стихиям, дождям, грозам, метелям. И в этом своя художественная правда.

Кажется, я о чем-то подобном уже писал. Кручусь вокруг тех же вопросов.

Сознательное и бессознательное культуры

«И что же может быть в бессознательном у русской культуры, которая всеми силами рвется к Богу, идеалу, вечности, любой ценой культивирует духовность и проч.? Правильно — дерьмо! И Сорокин это понял лучше, чем кто бы то ни было, и поэтому он, независимо от того, что он напишет дальше, уже вошел в историю литературы...»

Вышеприведенные рассуждения не позволяют мне согласиться и с восприятием культуры как абсолюта, а мучеников, вроде Мандельштама или Цветаевой, как святых».

Из письма литературоведа М. Л.

«Я сразу же в уме стал составлять Вам ответ, он получался довольно большим. Между тем мне надо было возвращаться к работе. Я открыл ее на странице, где не вполне ясный пока мне самому персонаж рассказывает моему герою: «Они говорят: признавай правду! Ты не хочешь признать правду? Скрываешься в мире галлюцинаций, искусства, поэзии, красоты? Мы тебя вылечим. Мы тебя заставим признать правду. Покажем, кто ты на самом деле такой. Когда превратят тебя в кучу мяса с кишками наружу, в помоечную собаку, в грязь, в дерьмо».

Из ответного письма М. Л.

Продолжения пока не последовало. Вот некоторые разрозненные заметки.

Бессознательное культуры — для меня область темная. Интересно бы узнать у теоретиков, как оно выявляется, что это вообще такое? Откуда становится известно, что некая субстанция составляет содержимое этого бессознательного? Насколько это бессознательное соотносится со всегдашним инфантильным протестом против обрядных правил и норм, когда хочется пачкать стены непристойными надписями и картинками, демонстративно пакостить,

всячески шокировать скучных блюстителей правил? И что там, в бессознательном, скажем, американской, немецкой, французской культуры? Или, допустим, сейчас, когда вызывающая эстетический восторг жижа все явственней прорывается уже в сознание культуры — что-то в этом бессознательном» должно измениться?

Я не готов обсуждать конкретные имена, мало их знаю. Можно пробиваться через непонимание, выцарапывать у бытия разгадки, а можно — выстраивать компьютерные конструкции, ни в каком понимании не нуждающиеся, где смерть ничего не значит, потому что она условна, в запасе есть сколько угодно жизней. Можно воспевать распад, зло, непотребства, имитировать ужасы, «раскрепощать хаос», оставаясь безразличными, самодовольными, вполне буржуазными. (Разговоры об интеллектуальном шоке давно усвоены массовым ширпотребом).

Но я всерьез задумываюсь над словами о «горьком скепсисе по поводу всех попыток культуры упорядочить мир», о стремлении расслышать в шуме хаоса «многоголосье культуры», о «попытке заново строить здание гуманизма в пространстве хаоса».

«Есть ценностей незыблемая ска́ла» — казавшееся когда-то несомненным утверждение Мандельштама время, очевидно, вынуждает признать устаревшим.

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит, —

это вам уже не движение светил по определенным гармоничным орбитам. Какая там «незыблемая ска́ла»?

Наступает глухота паучья,
Здесь провал превыше наших сил.

Остается признать требования реальности.

Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,

Обрасту присосками и в пену
Океана завитком завьюсь.

Чем не предвосхищение постмодернистской, как сказали бы теперь, проблематики?

Для начала надо лишь согласиться: «Если все живое лишь помарка за короткий выморочный день».

Потому что каждому придется все-таки столкнуться с единственной, реальной, не компьютерной — своей — смертью.

Человеческая культура строится на системе запретов. Условных, вынужденных — потому что у *homo sapiens* перестали срабатывать биологические, предохранительные механизмы, те, которые удерживают животных от смертоубийства в схватках с соперниками. Это замечательно описали этологи: побежденный в единоборстве волк отводит от победителя взгляд, подставляет ему свою шею — самую уязвимую артерию. Последнего укуса достаточно было бы, чтобы его умертвить. Победитель физически не может этого сделать, происходит какое-то безусловное замыкание. Для людей пришлось ввести мифологическую заповедь «Не убий». Папуасов маринд-аним вынуждает охотиться за головами иноплеменников тоже условный принцип: лишь раздобыв голову, человек получает право дать имя своему новорожденному. Это вместо заповеди «не убий» — способ сохранить островную популяцию, не давая ей, видимо, слишком разрастаться. (Как запрет на инцест — брак с близкими родственниками, оберегает человеческое сообщество от вырождения). Другая культура, другая — искусственная — мифология.

Какие-то запреты устаревают, современные свободы позволяют их чуть ли не все игнорировать. Культура, как и популяция, может погибнуть — сколько их погибло. Может быть, нынешнее динамичное, быстрое видоизменение культур, их метисизация, размывание — уже проявления, разновидности очередной гибели.

Саму историю можно трактовать как цепь катастроф, разрушений, жизнь рода человеческого — как череду смертей.

Но есть рождение и возрождение, есть творчество, есть сопротивление смерти, разрушению, угасанию, энтропии.

Мандельштам сопротивлялся — и до конца утверждал жизненную необходимость сопротивления. Не святой, не мученик, противостоящий власти — художник, сознательно противопоставлявший свое искусство вырождению, небытию, отказу от культуры.

Но видит Бог, есть музыка над нами».

Опровергает ли эту музыку судьба Мандельштама, всей страны?

Шумы, взвизги, пиликанье получают свои названия в сопоставлении с этой музыкой. Музыка искусственна, но гармония музыкального звукоряда основана на объективных числовых соотношениях (частота колебаний струны). Те же числовые соотношения можно обнаружить в орбитах планет, атомных весах химических элементов и пр. (Можно, конечно, сказать, что сами числа — искусственные порождения мозга). Гармония — такая же реальность, как хаос. Неупорядоченный шум не знает диссонансов, но он не является музыкой. Он может быть элементом музыки.

И снова паровозными свистками

Разорванный скрипичный воздух слит.

Мы знаем о хаосе, осмысливаем его — ищем способы создавать в нем пространство, приспособленное для жизни. Чтобы не обесформиться, не размазаться, не растечься. Людям вообще, наверное, не совладать с реальностью жизни и с реальностью смерти, если не ввести искусственную условность — инструментарий искусства, мысли.

Нет в жизни смысла, кроме того, который мы создаем, пытаемся создать, ищем. Тут дело не в результате — в жизненной необходимости. Смысл — в поисках смысла.

И уж, по крайней мере, как сформулировал когда-то мой покойный друг, скульптор Вадим Сидур: «Живя в дерьме, не становись дерьмом».

Возвращение здравого смысла

В недавнем «Огоньке» кинорежиссер С. рассуждает о том, что свобода не благоприятна для большого искусства. «Свобода — это отсутствие координат».

«Рынок сделал свое дело — появились обслуживающие литература, кино, живопись... но вряд ли они породят какой-то шедевр». «В наше общество вернулся здравый смысл». Но «здравый смысл и искусство, в общем — полярные вещи». Определенного успеха можно добиться «на уровне энтэртэймента». Это слово пишется по-русски, как и слово трэш. Одно издательство выпускает даже серию книг «Коллекция трэш». Я решил уточнить набор синонимов по словарю: trash — отбросы, хлам, мусор, макулатура, плохая литература, ерунда, вздор, халтура...

Все это в порядке вещей, так и должно быть. Когда-то, глядя на благополучных западных людей, и сейчас, читая самодовольные рассказы наших успешных деятелей, я пытался понять одно: насколько счастливы эти люди, насколько по-настоящему ощущают они свою жизнь? В. рассказывает о своих банковских сотрудниках: им не о чем говорить, только о вещах, кто-то чувствует себя несчастным оттого, что у сослуживца часы лучшей марки, чем у него. Е. Т. рассказывает, как, приехав в очередную страну, очередной город, люди не успевают там ничего увидеть, занимаются шопингом, увозят не впечатления — сумки с покупками.

(Сколько, между прочим, английских слов приводится без перевода).

Купив в эти же дни новый картридж (вот еще одно слово, и не заменить его русским) я стал приводить в порядок распечатку стихов — и вспомнил один давний:

Скучно думать, приятней расслабиться
Без усилий, без испытаний,
Под ритмичный переплеск
Равномерных посильных занятий,
Наплывающих впечатлений,
Где на очереди конец.

Читая «Беседы с А. Шнитке»

Для Шнитке шлягерность — наиболее прямое проявление зла в искусстве. Шлягерность — символ стереотипизации мыслей, ощущений. «Это и есть самое большое зло: паралич индивидуальности, уподобление всех всем».

«Естественно, что зло должно проявляться. Оно должно быть приятным, соблазнительным... Я не вижу другого способа выражения зла в музыке, чем шлягерность...

Выражение негативных эмоций — разорванная фактура, разорванные мелодические линии... — это тоже, конечно, изображение некоего зла, но зла не абсолютного. Это — зло сломанного добра... Выражение истеричности, нервозности, злобы — есть выражение болезни, а не причины. А вот шлягерность — ближе к причине».

Одно его высказывание меня озадачило. «Я себя ловлю на том, что сейчас — в отличие от того, что было раньше, — мне человек сразу ясен. Сразу, окончательно ясен. И мне стало страшно скучно. И вообще мне ужасно скучно».

Вспомнилось, как я подошел к нему однажды, неловко попробовал заговорить, он (после инсульта) пытался приподняться со стула, Элем Климов его удерживал, укоризненно давая мне понять: вы же видите, человеку трудно. Стал ли я ему сразу ясен? (Я сказал ему, что недавно слушал его альтовый концерт, но не мог сразу назвать, какой).

Но ведь так не бывает, не может быть. «Он, наверно, конструировал человека и думал, что все о нем знает, — предположила Г., когда я заговорил с ней об этом. Никто не может быть окончательно ясен, каждый так сложен. Ты сам себе ясен?»

Возможно, он не совсем точно выразился. Но замечательно продолжение: «У меня такое ощущение, как будто голову мою вырвали из этого мира, а меня оставили в нем. И я делаю то, что уже знаю».

Это похоже на самочувствие моего нынешнего героя.

На удивление болезненной оказалась для Шнитке национальная проблема. Полуеврей, полунемец, еврейского языка и культуры не знает, но с детства чувствовал себя евреем, когда его обзывали «жид». Внешность еврейская. «Во мне нет ни капли русской крови», — не раз повторяет он. И при этом чувствовал себя принадлежащим русской культуре (даже русской музыке, что для меня не совсем понятно). На Западе, даже в Германии, на языке которой стал говорить раньше, чем по-русски, чувствует себя не совсем дома. «Я хочу жить здесь и там».

Для меня многое определенной. Пишущий человек особенно принадлежит стране своего языка, своей культуры. Что значит кровь? Мне кажется более существенным то, что этологи называют, кажется, импритингом — запечатле-

нием. Конрад Лоренц сделал потрясающее открытие: для утят матерью оказывается первый движущий предмет, который они увидят, вылупившись из яйца. Он отсадил в последний момент с яиц утку, задвигался перед утятами сам — и деревня изумленно наблюдала, как свеженький утиный выводок шествует за человеком в шортах к пруду и входит вслед за ним в воду. Для человека решающими оказываются первые «запечатленности»: лицо матери, голос, запах, слово, язык, пейзаж, первые колыбельные, первые сказки, «Колобок», «Репка» — до понимания. Потом будут другие сказки, может быть, другие страны, другие люди, другой язык — но это запечатлется неизгладимо, неосознанно, необъяснимо.

Возможно, есть память еще глубже — память до рождения, память крови, но об этом я судить не готов.

Кот в шлепанцах

Париж, книжная ярмарка. Утром — встреча с детьми, читателями моей сказки «Учитель вранья». Они ехали из пригорода, задержались — была забастовка железнодорожников. Переводчик, имени которого я при знакомстве сначала не расслышал, сказал: «Это шантаж. Только во Франции государственные служащие имеют право на забастовку. Работники частных предприятий должны вставать в 5—6 часов утра, чтобы пешком дойти на работу. И ничего с этим невозможно поделать. Меньшинство диктует свои условия большинству. В России большевики захватили власть, хотя тоже были меньшинством». Когда французы стали меня представлять, он услышал, что я переводил с немецкого, спросил, знал ли я Богатырева, Копелева. Это оказался Никита Кривошеин, сын солагерника Копелева. Я попросил у него электронный адрес, сказал, что пришлю свой текст о Копелеве. Среди школьников были темнокожие и арабы, они держались особняком. «Вы обратили внимание на этнический состав?» — спросил меня Кривошеин. Когда я повторил свой вопрос, который задавал здесь многим: падает ли уровень образования из-за притока в школы людей, которые плохо знают язык, культуру? — он ответил мрачно: «Это катастрофа». Среди вопросов, которые мне задали школьники (с подачи учителей, я думаю), был такой: почему у меня кот в шлепанцах? Я ответил: «Помните, у Шарля Перро он был в сапогах?» Оказалось, дети не знали «Кота в сапогах», вообще Шарля Перро. У нас, мне кажется, его знают все. Встреча прошла неплохо, дети читали

свои сочинения для школы вранья (написанные, скорей всего, с помощью учителей).

Вечером посидели в ресторане с моей переводчицей Л. Т. Я заговорил о парижской атмосфере, которая отличает этот город от Москвы: спокойствие, доброжелательность, улыбчивые лица, нет пьяных. Она покачала головой: здесь тоже проблемы. И рассказала, как на демонстрацию школьников, которые протестовали против какого-то нового закона, напали парни, в том числе темнокожие, стали избивать. Причины, по ее словам, не расовые, не идейные — просто проявление агрессивности, которая ищет выхода. Надо, конечно, сознавать, что наши впечатления — впечатления экскурсантов.

Кривошеин откликнулся на присланный мной текст о Копелеве («позднем Копелеве», как написал он). Сам он познакомился с ним еще в 54-м году, у него другие воспоминания. «В Марфино он подарил моему отцу к 50-летию 2 тома Ленина по-французски и сам написал предлинную поэму во славу т. Сталина — наподобие Моисея, он вел жестоковыйный русский народ к светлому будущему».

Счастье концлагеря

В «Иерусалимском журнале» тягостно было читать роман Нобелевского лауреата Имре Кертеса «Обездоленность». Два года (1944-45) из жизни еврейского мальчика, сначала в Венгрии, мобилизация в рабочий батальон, работа на заводе, потом концлагерь, Освенцим, Бухенвальд, наконец, освобождение, возвращение в Будапешт. Через все это автор прошел сам. Тщательно выписанные подробности невыносимой повседневности — и стремление к ней приспособиться, даже примириться с ней. Невыносимо. Некоторые страницы я, признаться, пропускал, бегло пролистывал.

Но самые последние страницы меня просто ошеломили. В Будапеште люди сочувственно расспрашивают подростка о пережитом. «Тебе надо забыть эти ужасы», — говорит один. Его ответ слушателей изумляет: «Я не замечал, чтобы были ужасы». — «Что это значит, — хотели они знать, — «не замечал»? Тогда я, в свою очередь, у них спросил: а они что делали в эти всем известные «тяжелые времена»? «Как сказать... жили», — задумался один.

Тут я, чтобы перепроверить память, открыл свой роман «Возвращение ниоткуда»: буквально то же произносит в своем «последнем слове» перед абсурдным судом отец рассказчика: «Мы жили». Потом продолжил чтение.

«Старались выжить», — прибавил другой. Стало быть, они тоже все время делали шаг за шагом, — установил я. Как это понимать: делали шаг за шагом? — не поняли они, и тогда я им тоже рассказал, как это происходило, например, в Аушвице... Десять—двадцать минут на ожидание, пока дойдешь до той точки, где решится: сразу ли в газ или еще один шанс. Между тем очередь все движется, все подвигается, и каждый делает шаг, то поменьше, то побольше... Мы никогда не можем начать новую жизнь, всегда только продолжаем старую. Шаг за шагом делал я, и никто другой, и, я объявил, в заданной мне доле я всегда хранил порядочность... Того ли они хотят, чтобы вся эта порядочность и все мои предыдущие шаги, все до одного, потеряли всякий смысл?.. Нельзя, пусть попробуют понять, нельзя отобрать у меня все».

Как это нам знакомо, какое тут обобщение! Это не только о концлагере. «Когда я прошел диктатуру Ракоши 50-х годов, восстание 1956 года. его подавление и особенно последующий длинный процесс приспособления кадровых времен, когда приманили к себе людей — вот тогда я понял, что же такое произошло в Освенциме», — говорит Кертес. Приводя эти слова в предисловии к публикации, Жужа Хетеньи (которая перевела роман вместе с Шимоном Маркишем) пишет «о негативной инициации человечества, вступившего после Катастрофы в новую эпоху».

А может, еще до Катастрофы — у нас через схожий опыт прошли раньше.

«Хотелось бы еще немного пожить в этом славном концентрационном лагере», — ностальгирует на свободе герой. «В известном смысле жизнь там была чище и проще... Ведь еще там, даже рядом с дымовыми трубами, было в перерывах между муками что-то, походившее на счастье. Все спрашивают только про тяготы, про «ужасы»: а между тем, что до меня, может быть, это переживание останется самым памятным. Да, о нем, о счастье концентрационных лагерей надо было бы им рассказать в следующий раз, когда спросят.

Если вообще спросят. И если только и сам не забуду».

Как нам это знакомо!

Позвонил в дверь сосед-алкоголик, попросил одолжить денег «на нитроглицерин». Вдруг сказал: «Я вам принесу статью о моем отце. Знаете, кто был мой отец? Круглов, министр внутренних дел с 1945—55». Галя ахнула: «Нет, про

него статью не надо». — «Он ничем не замаран», — понял ее реакцию сосед. «Как же не замаран? — сказала Галя. — А Ленинградское дело, дело врачей?» (О Ленинградском деле как раз недавно была впечатляющая передача по ТВ, да еще вчера на ночь она зачиталась книгой о цензуре). «Это КГБ», — откликнулся он. «А лагеря — это МВД?» — «Лагеря — это строительство, восстановление после войны». Дальше не о чем было говорить. У меня где-то есть запись об этом совершенно опустившемся больном человеке, нашем ровеснике. Соединяется: сын министра внутренних дел, алкоголик, просит денег на выпивку.

Симонов и Пригов

Вспомнилось, как в 93-м году мы гуляли с женой по Лондону, и я вдруг стал читать ей стихи:

Бывает так: большевику вдруг надо съездить в Лондон,
Увидеть двухпалатную британскую систему
И выслушать бесплатно там сто пять речей на тему...

Цитирую по памяти, наверно, с ошибками. Не буду сейчас воспроизводить все:

...И стали до того свободными,
Какими видим их сегодня мы,
Свободными до умиления
И их самих и населения.

— Знаешь, чьи это стихи? — спросил я.

Она подумала и сказала:

— Пригов.

Это был Симонов. Удивительно, чуть ли не 50 лет помню наизусть. Пушкина не всегда помню, а это застряло в мозгу.

С Приговым я был знаком шапочно. Когда незадолго перед тем мне вручили Букеровскую премию, он подошел поздравить и, подняв указательный палец, сказал наставительно: «Не зазнавайтесь».

Я долго не мог себе простить, что не нашел сразу достаточно остроумного ответа. Это потом мне стало приходить на ум разное, а тогда я был все-таки возбужден, раздерган. Стал бормотать что-то вроде: где уж мне зазнаваться, когда я вижу перед собой таких классиков.

Но время спустя я получил полное удовлетворение. Я выступал в Лондонском университете и возле аудитории на стене рядом с объявлением о встрече со мной увидел другое: о встрече со всемирно известным поэтом-абсурдистом Д. А. Приговым.

Вернувшись, я довольно скоро получил возможность рассказать Пригову об этом объявлении. Он пожал плечами:

— Здесь все верно, кроме одного: поэт-абсурдист. Я не абсурдист.

И тогда я, предчувствуя торжество, поднял указательный палец и сказал Дмитрию Александровичу наставительно:

— Не зазнавайтесь.

Боже, какой беспомощный лепет услышал я в ответ! Этот признанный остроумец стал бормотать: как я могу зазнаваться, если знаю, в какой великой литературе я работаю... — что-то в таком же духе.

Я от своих комплексов мгновенно избавился.

Манифест европейских тружеников

Брюссель. Hotel «Royal crown». Я приехал сюда по приглашению фестиваля «Европалия», который периодически проводится здесь под эгидой бельгийского короля — своего рода демонстрация культурной общности европейских народов. В этом году страной-гостем оказалась Россия.

Спустившись впервые к завтраку в ресторан, я не без удивления отметил, как изменился за последнее время тип деловых людей. Отель четырехзвездочный, здесь останавливались обычно солидные бизнесмены, преимущественно это были мужчины в строгих костюмах, при стильных галстуках. Теперь в роскошном интерьере преобладали дамы, одетые разнообразно и уж никак не солидно — я очередной раз почувствовал, как успел отстать от европейской моды.

Внешность многих я бы назвал нестандартной: за столик напротив уселась мужеподобная, гренадерского роста женщина, ее соседка сияла пышной лиловой прической, да и вся была — как бы это сказать? — ну да, пышная, внушительных габаритов. Представительские карточки на бюстах издалека я прочесть не мог. Современные *businesswomen*. Мужчины среди них просто терялись, да и выглядели как-то совсем уж непредставительно: вертлявые, мелковатые, в ноше-ных джинсах, курточках...

Лишь выйдя из ресторана в холл, я обратил внимание на небольшую табличку: «Sex work, human rights. European conference». В отеле «Royal crown» проходила общеевропейская конференция проституток. Точней сказать, именно «сексуальных работников». Можно даже сказать, пролетариев. Создавалась международная профессиональная организация: «International union of sex workers».

Писательское любопытство заставило меня спуститься на нижний этаж, в зал, где они собирались. Над входом висел большой бумажный плакат: «Sex workers of the world united». На столиках разложены документы, на стенах цветные фотографии, где свои достоинства в боевой готовности демонстрировали почему-то одни лишь мужчины. Они здесь тоже были, естественно, при деле: *sex workers*. Фотографии женщин были на удивление скромными, зато сопровождались текстами и даже стихами, где сексуальные труженицы делились своими чувствами и мыслями, обсуждали волнующие коллег проблемы. На мужчин мне смотреть было неинтересно, вообще человек в моем возрасте выглядел здесь, наверное, не совсем уместным (хотя дамы встречали и провожали меня взглядами спокойными, безразличными). Я лишь взял со столика документы конференции на английском и немецком языках, чтобы потом, вечером, почитать.

Сразу показалось немного странным, что тексты манифеста “Sex workers in Europe” на обоих языках были не вполне идентичны. Английский манифест не делал различия между полами, в немецком варианте говорилось только о женщинах: “Sexarbeiterinnen in Europa”. Порой вообще возникало впечатление, что речь для немцев идет преимущественно о правах лесбиянок и их партнерш — “unserer Partnerinnen”, которых несправедливо считают сутенершами и эксплуататоршами: “Zuhälterinnen und Ausbeuterinnen”. Формы женского рода в таком контексте как-то все же сбивали с толку. Понятней, да и демократичней звучал манифест английский — там выражался протест против нарушения человеческих прав любых работников этой самой “sex industry”, как их ни называй: “the labeling of our partners as pimps and exploiters”. Но, впрочем, и по-ан-

гнийски, и по-немецки говорилось о том же: о праве на труд, на социальное обеспечение, на участие в политической деятельности, о свободе передвижения, отмене обязательной регистрации и медицинского обследования, требовалось право на убежище независимо «от пола и сексуальной ориентации»... Тут я, впрочем, опять подумал, что в русском переводе это тоже оказывается не вполне понятно, ясней, пожалуй, звучит по-английски: “We demand the right to asylum for anyone denied human rights of the basis of a “crime of status,” be it sex work, gender or sexual orientation”.

Гент. Множество велосипедов на улицах, множество студентов. После моего выступления в университете мы шли по улице, в одном из прохожих мой спутник узнал бельгийского министра труда: он шел с женой и с детьми, возможно, из магазина. Как это замечательно! Я, заглядевшись на башни, чуть не столкнулся с велосипедистом, сказал: «Не хватало мне в Генте попасть под велосипед». — «Да еще под полицейский велосипед», — уточнил мой спутник. Полицейских здесь почти не видно, у них незаметная форма. Тем более никого с автоматами. Рассказывали, что премьер-министр ехал по улице на велосипеде, попал в аварию. Был большой шум в прессе: на тему о безопасности велосипедистов. Нужно все-таки попасть в нормальную жизнь, чтобы почувствовать: наша страна больна.

Самолет Брюссель-Москва. На телевизионном экране стрелка показывает по географической карте: мы уже пересекли границу России. Вспомнилось, как я впервые летел в ФРГ в 88-м году и не по экрану — глядя в иллюминатор, определял: мы уже не в Советском Союзе, уже не в Польше, уже не в ГДР. Все! Теперь меня в случае чего не вернут, я на свободе! Я не собирался оставаться в ФРГ, знал, что вернусь, но все равно это чувство: после всех хлопот и разрешения выехать, после контроля — я хоть на время в свободной стране.

И обратное чувство, когда я за год до того возвращался из Чехословакии через Польшу, пересекал советскую границу. Пограничники с овчарками на вспаханной полосе между рядами колючей проволоки, таможенник спрашивает, нет ли у меня «литературки». Лозунг: «Добро пожаловать в социалистический лагерь!»

Москва, в метро. Первое впечатление в аэропорту: встречающая девушка с плакатом: VIP-зал. В Брюсселе такого, кажется, нет и, наверное, быть не может.

Современное состояние

В недавней переписке с Хазановым-Файбусовичем мы обсуждали интервью его знакомого, социолога Б. Дубина в «Новой газете». Я процитировал пассаж, где Дубин пишет о двух тенденциях в современной творческой среде России: «Или ты делаешь свой продукт, который хорошо продается, или ты выгораживаешь свой мир вне массовой политики и массовой литературы... Это не порождает ни нового словаря, ни новых принципов, ни системы мысли». Эту уничижительную оценку можно отнести и к нам. Действительно ли мы совсем не способны «производить новые смыслы»? Дубин, правда, оговаривается: «Культурный прорыв не может быть героизмом горстки людей. Он должен сопровождаться структурными устройствами, которые будут держать и передавать этот импульс». Файбусович ответил, что это социологический подход, для него важнее общественные измерения, а не индивидуальные, и процитировал высказывание Адорно: «И все же самая одинокая речь художника парадоксальным образом жива тем, что она замкнута в своей одинокости. Именно потому, что она отказывается от истертой коммуникации, она обращена к людям».

Не берусь судить, как у нас насчет культурных, интеллектуальных структур, способных обсуждать и рождать смыслы (институт моего знакомого Левады, у которого я много лет назад выступал на философском семинаре и в котором Дубин работает — это одна из таких структур? Кое-что хотелось бы с ним обсудить). Но что парализована, причем сознательно, общественно-политическая жизнь, это очевидно. Обсуждают заявление одного из банковских руководителей, который считает единственным гарантом стабильности в России нынешнего президента и призывает сохранить его во главе государства и дальше, иначе будет катастрофа. Я подумал, что если сейчас нельзя назвать ни одной авторитетной, известной обществу фигуры, которая могла бы оппонировать Путину — а это действительно так — можно говорить о катастрофе уже сейчас. Целенаправленно вычищено, как говорят, все политическое поле, потенциальные лидеры не имеют реальной возможности заявить о себе, потому что средства массовой информации унифицированы, созданная государством партия и ее молодежное движение, которое называют сменой — все так же искусственно, как созданная когда-то фигура самого Путина, до этого ничем не проявившего себя, человека заурядных способностей. Впрочем, что я перечисляю? Катастро-

фа может развиваться замедленно, высокие цены на нефть до поры позволяют держаться. Ладно. Об этом кто-то скажет и без меня, наверно, уже говорят. Мне остается только «выгораживать свой мир вне массовой политики и массовой литературы». Увы. Но неужели одинокий художник не может породить ничего ценного?

«Почему вы не пишете о политике?» — спросили меня в Генте. «Я о политике пишу, — ответил я, — но не в прозе, а в эссеистике». Пропустив неделю российских новостей, я по возвращении постарался наверстать упущенное. Удручающее ощущение нарастающей фальши, лжи, демагогии. Политический телеобозреватель, имени которого писать не хочу, поминает покойного Александра Яковлева: вначале у него были добрые намерения, но он не заметил, как демократия стала разрушать Россию. (Пересказываю своими словами). И связывает имя Яковлева с делишками ельцинской «семьи», коррупцией, дефолтом. Но Яковлев после 91-го года от реальной политики отошел, к ельцинским делам он отношения не имел. Проглатывают эту фальшь среди множества прочих. Неужели никто не откликнется, не возразит? Я пишу об этом — но опять для себя. Претензии прежде всего могу предъявить к себе самому, сослаться на возраст, профессию, просто личные черты, делающие меня неспособным к публичной деятельности. Моя работа — уединенная.

В сегодняшней «Новой газете» приводятся мнения известных деятелей, которые сводятся к тому, что для людей демократических убеждений сейчас не время заниматься политикой. Надо вернуться на кухни, обсуждать, как когда-то, «исторический процесс и свое место в нем». «Плетью обуха не перешибешь, народ своей властью, в общем, вполне доволен». И т. п.

Чувство бессилия не добавляет уважения к себе. А ведь ничего не делать нельзя, это только ухудшает ситуацию...

Один из политических комментаторов, умный циничный технолог, заявил, что в России теперь надо работать над предотвращением революций. Я про себя заметил: предотвратить революцию всегда умели в Англии — и еще умеют в Северной Корее. Слово это всегда имело эмоциональную окраску, положительную или отрицательную. Полезно вспомнить его смысл, перевести на русский язык. Революция — это переворот. Попыткой переворота был в 91-м году ГКЧП; протест против переворота перерос в другую революцию, к счастью, бескровную.

Я годами обсуждаю все не публично, а на таких вот страничках, записываю стенографическими закорючками. Вчера попал на передачу, где обсуждалась тема «Бизнес и культура». В меру правильные общие места. Я мысленно вставлял реплики: сам бизнес — часть культуры, как спорт или мода. Можно бы рассказать, как я оказался в Германии, где огромным успехом пользовалась выставка из собраний Щукина и Морозова (в Эссене). Я тогда оказался в Дюссельдорфе у скульптора Юккера. Мы обедали в ресторане с японским искусствоведом, автором книги о дадаизме в Японии (кажется, так; мы разговаривали на двух языках, он хуже владел немецким, я английским). Мне запомнилась его мысль: экономический подъем послевоенной Японии объясняется, среди прочего, проникновением европейской культуры, в том числе живописи. Влияние тут не прямое, но его можно косвенно проследить. Потом (или в другой мой приезд) мы с Юккером оказались на вечеринке, где собралась городская финансовая элита; угощение называлось почему-то русским, там были блины с икрой. И за столом заговорили о выставке в Эссене; все восхищались Щукиным и Морозовым: выходцы из простых крестьянских семейств стали процветающими промышленниками — и проявили несравненный художественный вкус. Я спросил (вспомнив разговор с японцем): связан ли был их финансовый успех с интересом к искусству? Мне ответили утвердительно. А потом я спросил, есть ли сейчас в Германии меценаты такого же уровня, т.е. люди, которые не просто делают бизнес на искусстве, но для которых это личное дело. Мне ответили сначала отрицательно, потом кто-то вспомнил Мюллера, основателя Insel Hombroich. И на другой день меня в Hombroich отвезли, там в кафе я случайно познакомился с Мюллером — но это особое чудо, особый разговор. Об этом, думаю, остались более подробные записи в нерасшифрованной «Стенографии» 93-го года. Не уверен, что я вернусь к ним; решил хотя бы вкратце, «мемуарно» записать этот эпизод здесь. «Стенографию начала века» я понемногу все-таки ввожу в компьютер.

Николай I после разговора с Пушкиным сказал, что беседовал с умнейшим человеком в России. Извлек ли он что-то из этой беседы? Впечатления Пушкина, кажется, неизвестны. Смешно, я много лет, еще с советских времен, пробовал вообразить разговор с руководителем страны. Я обсуждал положение страны с умнейшими людьми — сказать бы Горбачеву, Ельцину, что нам кажется очевидным, может, они что-то лучше бы поняли, что-то правильной сделали. Сейчас мне такие наивные до смешного фантазии в голову уже не приходят. Не так давно в Германии социал-демократические канцлеры Брандт и Шмидт по-

человечески дружили с Генрихом Бёллем и Гюнтером Грассом (тогда еще не Нобелевскими лауреатами), беседовали не без пользы для себя, да и книги читали. Сейчас политики вряд ли читают книги, мнение писателей перестало быть авторитетным, да и кто эти писатели?

Когда слушаешь, как разные люди, во Франции и у нас, обсуждают нынешние события во Франции, поджоги, погромы, ищут причины, пытаются оправдать поджигателей, объявляют попытки противостоять погромам нарушением гражданских свобод — чувствуешь, что говорящие это интеллигентные люди как-то смущены, словно стесняются, боятся признаться в этом себе, но в душе ждут, что несимпатичные им деятели все-таки предпримут решительные, неприятные действия, положат конец безобразиям — и можно будет с чувством законного, почти брезгливого превосходства разоблачать этих врагов демократических свобод, нарушителей прав человека.

У нас это поневоле проецируется на российскую реальность, гораздо более безрадостную, чреватую не просто опасностями — кровью. Обсуждения остаются сотрясением воздуха — нет политической воли, конструктивных решений.

Открыл книгу Л. Гумилева «Этногенез и биосфера земли», посмотрел наугад страничку, другую — захотелось заново вникнуть. Увы, чтение то и дело вызвало внутреннее сопротивление, порождало сомнения, требовало постоянной перепроверки, на которую моей эрудиции не всегда хватало. А он своей эрудицией откровенно упивается, сыпет не всегда обязательными именами, фактами, объединяя и трактуя их иногда поверхностно, иногда просто неверно. В каких-то частных областях (история гуннов, хазар) он несомненный специалист, вызывающий доверие. Грандиозная, отчасти поэтическая концепция требует особого осмысления. Но варьируется, например, в разных местах мысль о том, что смешанные браки ведут к вырождению и гибели этноса. «Потомство от экзогенных браков... гибнет в третьем-четвертом поколении». Османскую империю, сам турецкий этнос погубили инородцы, которых веками брали на службу, прежде всего военную. (Таких людей, перешедших в мусульманство, называли ренегатами, причем слово это первоначально не имело оскорбительного оттенка). «Эту этническую целостность развалили в XIX веке многочисленные европейские ренегаты и обучавшиеся в Париже младотурки». Поневоле примериваешь: а немцы и прочие европейцы на русской службе со времен Петра I, а грузины, татары и прочие жители Российской империи, получавшие

русское дворянство (не говоря об одиозных евреях)? А правнук эфиопа, внук немки Пушкин — продукт вырождения? Там, где происходит «наложение этнических полей разного ритма, возникают антисистемы», — утверждает Гумилев.

Но сама заостренная постановка вопроса заставляет задуматься. «А так как за время существования человека на Земле все этносы давным-давно вступили между собой в контакты, то, казалось бы, антисистемы должны были вытеснить этносы, заменить их собой, уничтожить все живое в своих ареалах... А ведь подобного почему-то не произошло. Значит, в мире есть какой-то могучий импульс, противодействующий распространению антисистем и, возможно, очищающий от них лик земли». Дальше говорится о явно неземном происхождении «пассионарных», как он их называет, толчков. «Близкий Космос принимает участие в охране природы».

Это написано около четверти века назад. Я, помнится, тогда начал сознавать, что недооценивал национальный фактор в современном, казалось бы, все более глобализованном мире.

А сейчас я поневоле примериваю его концепцию к судьбам России — страны и русского «этноса». Одно неотделимо от другого. Страницы, где Гумилев описывает периоды упадка, «сумерки» этноса, читаются, как злободневная статья: «В искусстве идет снижение стиля, в науке оригинальные работы вытесняются компиляциями, в общественной жизни узаконивается коррупция». Можно цитировать много: потребительская психология, расслабленность, гедонизм, наркотики, сексуальная распущенность, пассивность общества, уничтожение природы. Можно добавить подробности новейшей этнической жизни. На Дальнем Востоке женщины все охотней выходят замуж за китайцев: они не пьют; китайское правительство целенаправленно поощряет браки своих граждан с русскими. Это происходит незаметно, но разрастается все быстрее. Как разрастается исламское проникновение — оно и в Европе стало уже ощущаться болезненно, там отчасти пробуют сопротивляться, отчасти призывают к терпимости. Гумилев не считает причиной отставания мусульманского мира в новое время неспособность к модернизации. Может, без нее и лучше: природа будет сохранней, девственные леса возродятся.

Но в России этнический кризис настолько связан с политическим, что незря возникают разговоры об агонии страны (с этносом разбираться трудней). Я то и дело возвращаюсь к этой теме. Не помню, записал ли я, как много лет назад (кажется, еще до Горбачева) спросил своего товарища: а как он себе представляет возможную катастрофу. Так она уже происходит, ответил он. Пустые

магазины, поезда не ходят по расписанию, ежегодный неурожай, развал экономики. Это не мгновенный, вялотекущий процесс. С тех пор мы прошли через период надежд — кажется, упускаем последние возможности.

Недавно Явлинский по радио опять бодро провозгласил: у нашей партии есть программа, что и как нужно сейчас сделать, подробная, с экономическими выкладками. Он все еще думает, что достаточно людям прочесть правильную программу, проголосовать за правильную партию — и все будет хорошо? Что мешают только происки сил, которые не допускают его до ТВ, манипулируют общественным мнением и т.п.? У других партий программы еще правильней, обещания еще круче. Почему голосуют за очевидных жуликов? Я тоже не сразу сумел понять. Вот, считаю себя вроде бы хорошим писателем — почему издают и читают не меня, а поставщиков пошлой макулатуры? Все правильно, так и должно быть. Но я, писатель, могу надеяться на что-то в будущем. Правильную политическую программу не станут даже перечитывать, не состоявшийся политик окажется не существующим.

В «Лехаиме» замечательное интервью Алика Городницкого. Среди прочего, он говорит о «катастрофе» российской науки. «Фундаментальная наука в России — в трагическом состоянии. Мы потеряли целый ряд научных направлений и школ. Мы молодежь потеряли. А значит, мы потеряли будущее... Я, профессор и заведующий лабораторией академического элитарного института, получаю 110 долларов в месяц, а кандидаты мои получают в полтора раза меньше... И одни уезжают за рубеж, а другие уходят в бизнес... Физическая гибель науки — это гибель русской интеллигенции со всеми вытекающими последствиями: с созданием социальной основы для фашизма, с зарождением поколения жлобов и лавочников».

Более десяти лет назад, в статье 1991 года «Между безнадежностью и надеждой» я цитировал письма академика Вернадского (1923—24). «Мне представляется положение в России мрачным». «Труд настоящим образом не оплачивается. Может быть, я отсюда скоро уеду». «Логически я благоприятного исхода не вижу». И в тех же письмах: «Научная работа в России не погибла, а наоборот, развивается. Несомненно, этого не должно было бы быть по логике, это иррационально, но это факт... В разговорах скажу, как это достигнуто и сколько погибло. Людей погибло». И дальше: «Я уверен, что все решает человеческая личность, а не коллектив, elite страны, а не ее демос».

Я писал в своем эссе, что не совсем объяснимым образом, в условиях более страшных, чем нынешние, надежды Вернадского в какой-то мере оправдались. Сохранившаяся инерция, преемственность еще порождала новых людей, сохранялась тонкая, уязвимая пленка (я ее сравнивал с грибницей), на которой могло еще что-то вырастать. Сейчас, боюсь, под угрозой уже эта пленка, грибница.

Ведь примечательно: словом элита сейчас обозначаются не ученые, не философы, о которых пишет Вернадский, а больше политики, бизнесмены, нувориши, те же жлобы и лавочники, о которых говорит Городницкий. Перемены, так сказать, в генофонде могут оказаться необратимыми, если исчезнет преемственность, вырождаются школы.

Мне вспомнился один эпизод. В 1949 году я заболел туберкулезным менингитом — болезнью, которая до изобретения стрептомицина считалась смертельной. Диагноз был не очевиден. Приглашенный врач посоветовал немедленно положить меня в детскую Морозовскую больницу, и там был проведен консилиум. Три врача, собравшиеся у моей постели, обсуждали болезнь на латыни (как было принято, чтобы больной их не понимал). Когда я рассказал об этом Жоржу Нива, он удивился. Не уверен, что и во Франции сейчас врачи смогли бы беседовать на латыни, скорее по-английски; не говорю о наших нынешних. Но в 49-м году этим врачам было около 50, они могли быть выпускниками еще старого университета, учениками еще старых профессоров.

Одного из них я потом узнал ближе, это был профессор Фурер, один из изобретателей вакцины от детского полиомиелита, (которой Советский Союз потом благодетельствовал весь мир). Он собственноручно делал мне ответственные пункции — между шейных позвонков. Более простые пункции, между поясничных позвонков, делала, кажется, старшая сестра. Пункции эти делались регулярно, брали для анализа спинномозговую жидкость и через тот же шприц вводили только что дошедший до нас стрептомицин, который родители сумели где-то раздобыть, не знаю уж, за какие деньги. Эта еще не опробованная методика сделала меня в 12 лет глухим на одно ухо. А мальчик помладше, в соседнем боксе, оглох совсем.

Мать этого мальчика, художница-мультипликатор, была немка. Помню разговоры в палате, каким образом ей удалось избежать высылки, остаться в Москве. Отсидел срок ее муж, туберкулезный грузин, который в войну попал в плен. Он бывал в палате; приезжал из Грузии и его отец, дед мальчика, старый тихий грузин. И о высылке немцев, и о лагерном сроке для военнопленного говорили, как о чем-то естественном, я понимал, что так было положено. Необъяснимым можно было считать только благополучный исход.

Эта немка-художница приносила в палату папку репродукций русской живописи, напечатанных, вероятно, за границей: каждая прикрыта папиросной бумагой, необычайно высокого полиграфического качества. Там, кажется, не было передвижников, но были Рокотов, Боровиковский, Левицкий, Венецианов. Оценил их я лишь потом.

Дневниковая эссеистика опять стала незаметно переходить в мемуары. Но даже записанные события более близких лет я вряд ли удосужусь расшифровать — разве что вот так вспомню иногда эпизоды.

«Don't be blue»

На асфальте у набережной Яузы кто-то написал мелом: «Скоро конец лета». И продолжил по кругу (со стрелкой): «Скоро начало осени». И дальше: «Будет зима». А потом, по кругу: «И снова будет тепло». Мне симпатично это подростковое философствование. И рядом тем же мелом по-английски: «Don't be blue / tomorrow is another day». Наверно, какая-то неизвестная мне песенка. И еще одна: «You don't need to open your eyes to see that / just close them & you will see some thing nobody can see». Как это хорошо!

Из записей 2006 года

Один из читателей «Стенографии начала века» заметил, что записи, сгруппированные вокруг тематических заголовков, без дат, теряют дневниковую непосредственность, которая отличала «Стенографию конца века». Существенно бывает проследить ход событий, развитие мысли — течение времени. Некоторые записи 2006 года расположены далее в хронологической последовательности.

4.2.06. ...Решил почистить книжные полки — новые книги не вмещаются. Выбросил комплекты «Юности» и «Нового мира» за 1989, вырывая некоторые листы (Д. Андреев, В. Шаламов и др.). По ходу дела кое-что читал, удивляясь, как многое продолжает звучать злободневно. С. Булгаков пишет: «Россия гниет заживо — вот что похоронным мотивом ныло у меня в душе». Это 1912 г. А я несколько дней назад писал Померанцу, что России грозит не столько распад,

сколько разложение. Булгаков уповает на христианское обновление, надеется, что «Константинополь будет наш». А в 1923 г. пишет «В Айя-Софии» — о мусульманах, которые превратили христианский храм в мечеть: «Они явились благоговейными местоблюстителями. И их молитва, их благочестие производит чарующее, примиряющее впечатление... И невольно подумалось: очевидно, они достойнее нас, тех, кто так шумно собирались еще недавно «воздвигнуть крест на св. Софии», чтобы в ней бесчинствовать потом безвкусицей своим и рабством своим». Это нечаянно сопоставилось с бесчинством мусульманских толп, возмущенных публикацией в датской газете карикатуры на Муххамеда. Никто из них этой карикатуры не видел, я тоже смутно ее разглядел на телеэкране. Вспомнилось, что Пушкин был сослан за озорную поэму о соблазнении девицы Марии. Вспомнился прелестный кукольный спектакль «Божественная комедия», где Бог с ангелами сотворяет Адама и Еву; у меня был когда-то альбом юмористических рисунков Жана Эффеля на тему сотворения мира. Думаю, даже самые верующие христиане способны были улыбаться этим шуткам, не чувствуя себя оскорбленными. Способность к юмору, исключая фанатизм, позволяет этой цивилизации развиваться. Но в таком столкновении она оказывается беспомощной, и перспективы неясны.

13.2.06. Вчера по радио слышал Померанца, он выступал в дискуссии на тему: считать ли нынешнее протестное движение в мусульманских странах войной цивилизаций? Гриша отвечал, как всегда, обобщенно: и да, и нет, напоминал об истории столкновений мусульманского и христианского мира. Хотелось задать ему вопрос: считать ли современный Запад христианским? Столкновение идет между современным миром, которому свобода мысли, способность критически относиться к себе позволила совершить научно-техническую революцию и процветать — при всех своих слабостях, с миром, который из-за религиозного догматизма оказался неспособным к модернизации, отстает, бедствует и терзается чувством неполноценности.

16.2.06. Объявление на дверях церкви: «При входе в храм отключать пейджеры и мобильники».

На стене церковной лавки 10 заповедей дополнены списком грехов, за которые надо каяться на исповеди. Нарушением заповеди «Чти отца своего и мать свою» считается, среди прочего, «неуважение к светским начальникам». Кто придумал эти толкования? Не Моисей и не Христос, конечно. Можно представить, как в советские времена кто-то признавался священнику, что не любит Сталина.

Старушка-служительница, не дожидаясь конца панихиды, собирала свечные огарки в полиэтиленовый пакет. Наклонилась, расстегнула молнию матерчатого сапожка, засунула туда полученную от кого-то денежную бумажку, застегнула молнию.

17.2.06. Неравенство и постмодернизм.

«Неравенство есть условие развития культуры. Это аксиома». (Н. Бердяев, «Философия неравенства»).

«Новое искусство обращается к особо одаренному меньшинству. Отсюда раздражение в массе». (Х. Ортега-и-Гассет. «Восстание масс»).

Но если «высокая» культура, «высокое» искусство предполагает существование разных уровней, иерархии, постмодернизм декларирует отказ от иерархий, равноценность всех уровней (консервная этикетка — такое же искусство, как «Мона Лиза»), размазанность индивидуальностей, размазывание авторитетов.

Расценивать ли это как «восстание масс»? Нет, тут новое меньшинство, претендующее на элитарность. Аристократизмом это не назовешь. (Впрочем, был же аристократом маркиз де Сад).

5.3.06. Таня по телефону передает разговор с Максиком.¹ «Это не по логике», — сказал он о чем-то неправильном. «А что такое логика?» — спросила Таня. «Логика — это математическая судьба всех вещей». — «А что такое математическая судьба?» — «Понимаешь, есть как бы такие рельсы, и события могут двигаться только по ним». — «И это значит судьба?» — «Нет, судьба — это то, что остается за ними», — ответил восьмилетний философ.

14.3.06. Знаменитый финал одного из «Случаев» Хармса («Макаров и Петерсен»):

«Постепенно человек теряет свою форму и становится шаром. И, став шаром, человек утрачивает все свои желания».

Прихотливая, необъяснимая, завораживающая фантазия. Почему вдруг шар?

Удивительную переключку я обнаружил в романе С. Беккета «Безымянный». Там персонаж-рассказчик пытается понять, кто он такой: «я, о котором я ничего не знаю». «Никакой бороды у меня нет, и волос тоже нет, большой гладкий шар на плечах, лишенный подробностей... И никаких непристойностей. Да и почему у меня должен быть половой орган, если нет носа? Отпало уже все, что торчит: глаза, волосы, без следа, упали так глубоко, что не слышно было

¹ Дочь и внук автора.

звука падения, возможно, еще падают, волосы, медленно-медленно, оседают, как сажа, падения ушей я не слышал... Вот так, готово... я — большой говорящий шар, говорящий о том, что не существует или, возможно, существует, как знать, да и неважно».

До чего это по-хармсовски звучит, даже подробности! («Уши его упали на пол, как осенью падают с тополя желтые листья». «Страшная смерть»). «Безымянный» написан в 1953 году, «Макаров и Петерсен» в 1934, «Страшная смерть» в 1935. Беккет знает Хармса, конечно же, не мог. Тут не простое совпадение — тут общность мышления у двух великих мастеров абсурда. Ходы абсурдной мысли не произвольны, в них есть своя логика, и на глубине она совпадает.

23.3.06. Вечером открыл блистательный текст Н. Я. Мандельштам «Моцарт и Сальери», прочел многократно читанный мною пассаж о том, «какую роль для поэта играет самообуздание. У него должен быть мощный контролирующий аппарат, чтобы распознать качество и ценность импульсов. Поэт молчит, если он не созреет для той глубинной и самозабвенной деятельности, которая ему предстоит. Иногда это происходит оттого, что он еще не оторвался от суеты, чтобы почувать свою глубину, а иногда потому, что «душа убывает», как когда-то сказал Герцен».

Надо все время напоминать это самому себе.

25.3.06. Недавно среди ночи кто-то стал нам звонить в дверь, незнакомый молодой человек спросил, нет ли у нас сигарет, сказал, что он с четвертого этажа. Галя, конечно, не открыла, встревожилась. На другой день выяснилось: наш сосед-алкоголик, не раз клянчивший деньги на выпивку, зазвал к себе четверых незнакомцев, они напоили его до бесчувствия, соседям пришлось вызывать скорую помощь, милицию.

Обычная история. Я вспомнил ее, просматривая листки, вырванные из старого журнала «Юность». Антон Антонов-Овсеенко рассказывает, среди прочего, историю ареста Берии. Хрущеву помогли справиться с ним «перебежчики из лагеря противника»: заместитель министра госбезопасности Серов и министр внутренних дел Сергей Круглов. Наш сосед-алкоголик — сын этого Круглова.

Житейская история, одна из множества, выделяется из обычного ряда, соединившись с отмеченным именем.

26.3.06. Таня пересказывает Мишины¹ разговоры в кровати с самим собой. Держит перед собой ручки, шевелит пальцами каждой по очереди. «Ну, будем

¹ Еще один внук автора.

спать? — говорит старшая ручка. — Нет, сначала поиграем, — говорит младшая. — Ну ладно».

Время спустя: «А что это такая темнотища? — говорит старшая ручка. — Это не темнотища, это сон, — говорит младшая. — А, сон... Ну ладно».

3.4.06. Вчера вечером посмотрели фильм Говорухина «Не хлебом единым» по роману Дудинцева. Мне роман когда-то, в общем, понравился, хотя и не восхитил. Сейчас трудно понять, какая буря возникла вокруг этого заурядного, а по сути фальшивого, при всех добрых намерениях, произведения. Фильм сделал эту фальшь наглядной. Он следует роману довольно точно (кроме, пожалуй, финала, где досочинена работа героя в «шарашке»). В 50-е годы до нас уже доходило кое-что о действительности лагерей, арестов, но мы делали скидку на невозможность сказать в печати всю правду. А что было сказано? Что есть честные идеалисты и есть обманщики, карьеристы... — нет, не хочется воспроизводить всю тогдашнюю муть. Я в те годы (а Говорухин на полтора года меня старше) еще мог быть таким непозволительно глупым идеалистом (и не безвредным — если бы время не изменилось и не начало меня вразумлять), но тогдашние взрослые, зрелые люди, сам Дудинцев! А теперь и вполне взрослый, умудренный опытом Говорухин. Фальшь делает фильм опасным: новая молодежь составляет представление о тогдашней советской жизни по таким благонамеренным поделкам, сериалам — их сейчас плодится множество. (Не говорю о «фашистской» молодежи, которая вопит нацистские лозунги, тоже ничего не зная о фашистской реальности; сейчас об этой опасности много разговоров, каждый день людей избивают, убивают на улицах).

Я видел Дудинцева однажды в Гослитиздате (изд-во «Художественная литература»), он выступал с Жоресом Медведевым и генетиком В. П. Эфроимсоном. Меня привел туда, помнится, Петр Якир. Это было где-то в середине 60-х, надо посмотреть тогдашнюю «Стенографию», уже после Хрущева — можно стало говорить о Лысенко. Поминалась работа Медведева о Лысенко, еще не напечатанный роман Дудинцева о генетиках. Дудинцев не очень мне понравился своей назидательной интонацией. «Вы не понимаете», — говорил он слушателям. «Вы не чувствуете...» «Вы», а не «мы».

Все не доходят руки до расшифровки записей, хочется тратить силы на новую работу. Поневоле перехожу на мемуаристику; но тут уже начинается обобщение. Взял полистать книгу Берберовой «Курсив мой», открыл страницы о Бунине. Блестяще, умно, едко. Но вспомнил, какие оговорки по ее поводу делал Жорж Нива, открыл его рецензию: он ловит Берберову на передержках, предвзятости, недостоверности. Стараюсь за собой в этом смысле следить.

Выделил сейчас для себя одно ее замечание. «Прожив долгую жизнь.., я узнала, что есть люди, которых можно исчерпать в один вечер (или в одну неделю, или в год), и есть другие, которых исчерпать невозможно, потому что внутри них все время что-то происходит». Мне тоже с годами, чем дальше, тем чаще приходится убеждаться, что далеко не все способны развиваться. Есть люди как будто остановившиеся. Не говорю об угасших, не осуществивших заложенное в задатке. Но суждения на этот счет могут говорить и о самом мемуаристе: может, чего-то не понял, не разглядел, просто не знал, (а человек, казавшийся ему неинтересным, оставил после себя потайной труд).

7.4.06. Мужчина в метро достал из нагрудного кармана газетную вырезку, развернул, стал перечитывать. Хранит что-то важное для себя. Я заглянул в крупный заголовок: «У поп-звезды нет денег на операцию».

Если Бога нет, то все дозволено, говорил герой Достоевского. Современный террорист, наоборот, убежден: если Бог есть, то позволено все, в том числе убийство множества случайных, ни в чем не повинных людей.

По совпадению, ровно два года назад, 7.4.04, я записал, как практика терроризма вынуждает заново переосмысливать благородные, несомненные представления, например, о свободе. («Только служа Богу и подчиняясь ему, человек осуществляет свою свободу». Так мог бы сказать террорист, взрывающий вместе с собой людей).

19.4.06. В «Политическом журнале», который нам приносит соседка, интервью социолога Б. Дубина. Его оценки во многом совпадают с моими и потому кажутся правильными. «Значит, будущее России оказывается под большим вопросом?» — спрашивают его. «Похоже на то, но мало кто готов это признать. И еще меньшая часть хочет выбраться из болота. Есть поток на Запад, особенно среди молодежи. Если эта тенденция сохранится, то уедут те, кто может что-то сделать реально... Пока мы будем решать задачи позавчерашнего дня, весь мир уйдет далеко вперед. Погибших цивилизаций в наше время нет, но тупиковые режимы есть. Возможно, как говорили в 19-м веке, внеисторическое существование».

Я перестал слушать околополитическую болтовню на радио, на телевидении и слушать давно нечего. Разговоры о необходимости объединить оппозицию, пока еще есть время до выборов, так и остались разговорами. Времени почти не осталось, и сама оппозиция — тот же отработанный пар, те же слова, не более. Состояние какого-то бессилия, транса.

20.4.06. ...Пробовал читать книгу английского исследователя Доналда Рейфилда «Жизнь Чехова». Житейские обстоятельства, подробности семейной жизни, бесконечные проблемы со здоровьем, чахотка, желудок, геморрой, здоровье родственников, Ольги Книппер, ее внематочная беременность, предположительно не от Чехова, гинекология, жизнь порознь, тягостная переписка, подробности жизни и здоровья многочисленных знакомых — весь этот набор, мало связанный с главным, литературным творчеством, производит тягостное впечатление. Сомнительная эротика, неуловимость полноценного, живого чувства... несчастная, в общем, жизнь. Задержался на упоминании о последнем рассказе Чехова, «Невеста», 1903 года. Автор пишет: если раньше Чехов тратил на рассказ один день, позднее — неделю, то теперь ему понадобился целый год. «Такая замедленность темпа говорит не только об упадке здоровья, но и о том тщании, с каким Чехов теперь отделял каждую фразу». Меня это заинтересовало потому, что я сам теперь стал писать медленней. Перечитал рассказ (из комментария узнал, что Чехов работал над ним не год, а всего пять месяцев, тоже немало). И не мог вспомнить прежнего очарования: что-то вялое, неопределенное, тягостное. «Она ясно сознавала..., что она здесь одинокая, чужая, ненужная, и что все ей тут ненужно, все прежнее оторвано от нее и исчезло, точно сторело, и пепел разнесся по ветру». И это ощущение из рассказа в рассказ, из пьесы в пьесу. Интеллигентные, скучные, скучающие люди, и ни одной яркой, значительной мысли. Увы, остается это считать фактом своей биографии. У Бродского есть очень язвительное стихотворение «Посвящается Чехову». И у Ахматовой было схожее чувство. Любимый писатель моей юности.

2.5.06. Чтобы не бездельничать, я расшифровал давние записи 81-го года. В одной из них рассказывается, как я, получив гонорар, долго ходил по магазинам: в одном купил черные чернила, в другом тушь, в третьем красные стерженьки: все было проблемой. Из Красноярска просили купить 5 кг масла — «а сыр не обязательно, мы и забыли, как он выглядит». Теперь и мы забыли, как было еще 25 лет назад. Идиоты на вчерашней демонстрации, старые, да и молодые, ходили с портретами Ленина и Сталина.

8.5.06. Проехались с Валерой и Леной по Московской и Калужской областям, немного заехали в Тульскую, за Окой. Майская зелень, множество мышиных холмиков — открылись, пока не поднялась или выпалена трава, прекрасные замусоренные пейзажи, восстановленные монастыри, реставрированные церкви, разрушенные усадьбы — и тот же быт вокруг, убогие домишки, коттеджи новых богачей. Воздвиженско-Давыдова пустынь (перед Серпуховом) недавно была, может быть, лагерем, а может быть, складом, теперь сияет, как но-

водел, золотой купол на церкви — и две могилы за ней с роскошными памятниками черного гранита, на одном даты жизни 1967—2001, на другом примерно такое же, я не списал. Местные бандиты, один из них стал главой Чеховского района, оба были убиты; на деньги «братков» восстановлена церковная роскошь. (Свято-Бандитский монастырь, выразился кто-то). За оградой — нищие домишки. За Окой, над разрушенной церковью, над деревней Подмоклово кувырчался под облаками спортивный самолет: горка, петля, пике — радость жаворонка. В Пафнутьево-Боровском монастыре я был почти ровно 25 лет назад (запись 26.3.81). Там был какой-то техникум, производство. Теперь церковь действует, новый иконостас, фрески едва угадываются. У дверей низкого здания очередь женщин — ждут беседы со старцем Власием. Сам Боровск был когда-то живописен, сейчас стены зданий расписаны художником (Овчинников), неплохо. Как всегда, смешанные чувства, преобладает грусть о разрушенном, утраченном навсегда богатстве.

Замечательный анекдот:

— Что ты от меня хочешь? — спрашивает старика пойманная золотая рыбка.

— Хочу... хочу, чтоб все у меня было!

— Считаю, твое желание выполнено: все у тебя было.

12.5.06. По ТВ сейчас показывают сериал «Доктор Живаго» — «по мотивам» романа. Именно «по мотивам». Совсем другие персонажи с пастернаковскими именами, другое действие — все вызывает недоумение, переходящее в раздражение. Взял роман, начал перечитывать. Несколько лет назад я пробовал его читать — почему-то не пошло. Но тут — может быть, по контрасту с сериалом — как все-таки местами хорошо! Поэзия, чистота — не без оговорок, конечно; дальше, думаю, их будет больше (уже больше). Вспомнил, как впервые читал его году в 70-м по слепой машинописи, в руки попала сначала вторая часть. Какой сразу дохнуло свободой, каким воздухом, особенно после советской литературы!

(А сейчас еще попутное ощущение — после недавней поездки по провинции. Пейзажи, описанные Пастернаком, я еще застал: не замусоренная природа, не испорченная красота. Я еще пил воду прямо из речки. Сейчас, особенно, конечно, вдоль автомобильных дорог, всюду полиэтиленовая слизь, железки, бумажки, обломки).

Ночью привиделся замысел. Персонажи обсуждают автора, свою непостижимую связь с ним, взаимовлияние, пытаются представить его... Мне казалось, что это не сон — реальная идея, порожденная бессонницей, ясная до подробностей. Я решил (во сне?), что утром запишу ее и разработаю. И вот, лишь начав записывать, почувствовал, что вещество под пером тает, исчезает. Значит, сон. Увы¹.

13.5.06. Нет, «Живаго» я все-таки сейчас плохо воспринимаю. Между прочим, 30 с лишним лет назад не казалась такой странной мысль о том, что «после Христа нет народов, есть личности». Как будто в течение двух тысяч лет только евреи хотели сохраняться как народ. Как будто европейская история не была историей войн, государств, умирающих и рождающихся наций. Как будто вообще не существовало мусульманского мира, Индии, Китая, к которым эти философствования смехотворно неприложимы. Много в романе заставляет пожимать плечами. «Простонародная» речь звучит ненатурально, да и речь героев выстроена как-то однотипно. Зато несравненны пейзажи, описания.

20.5.06. Вчера на «Свободе» Баткин вспоминал Сахарова (завтра ему исполнилось бы 85 лет), говорил, что в наше время он остался моральным авторитетом для немногих: за 18 лет после его смерти выросло целое поколение, для которого это имя ничего не значит. Его собеседник добавил, что их родители

¹ Прим. 2007. Время спустя замысел все же кристаллизовался в верлибре:

Голос персонажа

Чего опять испугался? Дай мне уйти из дома.
У меня уже есть характер, я способен к порывам.
Не делись преждевременным благоразумием — сам успел узнать ему цену.
Ты ведь, чувствую, старше меня, сердце, небось, не в порядке,
Пишешь — и бережешься, не хочешь себя бередить,
Окорачиваешь воспоминания, боишься коснуться правды.
Я ведь тоже могу о тебе сказать кое-что, мне сочинять не надо,
Осторожничай, не договаривай — отсюда ты очевиден.
Умен, может быть, даже слишком (не поспешил и на меня),
Прожил благополучно жизнь со случайной — признайся — женщиной,
Рисковал только в воображении, да и то до черты,
Не узнал настоящей любви — она ведь тебе сказала,
Да, тебе: «Ты боишься». Но что-то еще возможно!
Не вычеркивай — все равно голос будет звучать,
Напоминать об упущенном. Ты всемогущ, как создатель —
Дай мне пожить, как хотел, проживи хоть немного со мной
Полноценно, по-настоящему — не то до последних страниц,
До последних строк будешь, как я, томиться
О несбывшемся, не состоявшемся.

2007

думают больше всего о карьере. Новые авторитеты не выдвинулись, старые не востребованы. Тональность разговора была скорей невеселая.

А почему, если вдуматься, невеселая? Есть личные причины грустить: уход близких, возраст, здоровье, профессиональные проблемы — с этим всем и всюду надо справляться. Но не всех тревожит судьба страны, вот что определяет тональность.

28.5.06. С интересом читал в «NB» статью Блюменкранца «В поисках имени и лица» — о современной культурной, духовной ситуации. Какие-то формулировки показались интересными, например, о «тотальном проникновении в повседневную жизнь виртуальной реальности»: «Для одних это расширило сферу достижений культуры, для других — горизонты их сновидений. Или о «маргинализации и деградации культурных элит»...

На Каннском кинофестивале истеричная толпа с ночи ждет появления кинозвезды — просто чтобы посмотреть на нее. Я размышлял на эту тему в эссе «Я их видел». Что значило: «Я видел Сталина»? «Я Сталина в гробу видал», — возникло вдруг сейчас в мозгу. Замечательное однострочное стихотворение. Правда, похожей строчкой заканчивалось трехстишие, которое я услышал, помнится, от Наума Коржавина (на проводах Тоши Якобсона): «Я Ленина в гробу видал». (Где-то у меня это записано полностью). Но у меня совсем другое, я могу считать эту строку своей авторской собственностью: «Я Сталина в гробу видал».

30.5.06. Читаю книгу М. Германа о французских художниках. О трагизме Пикассо: «Юнг полагал, что одна из основ искусства Пикассо — некую (вызывание теней умерших, по гомеровской *Одиссее*), нисхождение в преисподнюю... Для художника лабиринты душевного ада отождествляются с драмой времени».

Не знаю, думал ли так о себе Пикассо. В жизни он представляется скорей предельно свободным искателем, пролагателем путей, немного циничным, успешным, ценящим наслаждения и т. п. Что-то проявляется независимо от намерений, неосознанно — оценят лишь со стороны.

Я по другому поводу подумал недавно о себе: почему в моих книгах столько невольного трагизма? Сам я себе кажусь скорей легкомысленным, склонным отмахиваться от неприятностей и т. п. (Может быть, благодаря этому и держусь). Но трагизм возникает не придуманный, не умышленный, как бы даже против желания. Дневники работ могут подтвердить, как это органично, не ум-

ственно возникало. Что-то проявляется через нас. Может быть, из других измерений.

11.6.06. Неожиданные воспоминания искусствоведа А. Ромма о Шагале. Он знал его и в Париже, и в Витебске, где Шагал, по его словам, проявил себя диктатором, «революционным комиссаром». За свой пропавший эскиз он мог угрожать расстрелом. «Уже тогда Шагала ненавидели. Художники не могли простить, что он однажды принял их, лежа на диване, подчеркивая таким образом их ничтожество и свою гениальность». Упоминается, как многие ему завидовали: «не я один». Чувствуется уязвленный взгляд. Он никак не вяжется с моим представлением о Шагале. Как и представление о мрачных, демонических источниках его творчества. В Париже автор ночевал вместе с Шагалом. «В эти совместные ночевки я наблюдал, как часто сон его был отягощен кошмарными видениями. По некоторым намекам я мог заключить, что Моисей (так его тогда звали) видит нечто подобное своим кошмарным картинам, где мир представлен в вихревых движениях «навыорот». Но больше всего аналогий «шагаловскому миру» можно отыскать «в искусстве, стремившемся воплотить темные и таинственные силы зла, безумия и пошлости». Это писалось в 1944 г. Неожиданно.

17.6.06. Лена рассказывала, как съездила по делам к знаменитой поп-звезде В. Встреча была назначена в роскошном отеле, она вышла со своим мужем-продюсером. Самое дешевое, что можно было взять в холле, стакан апельсинового сока, стоил 600 руб., т. е. больше 20 долларов. Вряд ли он вкусней, чем тот, который я пью каждое утро, и удовольствие вряд ли больше. Может быть, даже меньше. Я слушал по радио рассуждения о том, как непроста жизнь богатых людей, какого она требует постоянного напряжения, риска, вот и тратить приходится по возможностям. Содержательное измерение этой жизни мне вряд ли доступно.

20.6.06. Вечер Комы¹ в кафе-клубе «Билингва»... Он выглядел не столько постаревшим, сколько усталым, каким-то отключенным. Читал стихи, очень хорошо, но я лучше их воспринимал, когда следил за чтением по книжке (она продавалась тут же)... В особый раздел собраны были стихи о стране, о России, отчетливей проявился его «разрыв» с ней: «Трагический роман с Россией / Оканчивается разрывом» (1976), почти отвращение: «Недотыкомка! Недооткрыта...» (1980). Мне вспомнилось, как именно в этом году Кома сказал по поводу моих «Иванов», что я слишком снисходителен к России, к русской истории. Интересно, что вперемешку печатаются стихи разных лет, и между ними нет осо-

¹ Вячеслав Всеволодович Иванов.

бой разницы. Между чтением стихов он отвечал на вопросы. Например, на вопрос: «Можете ли вы сказать, какой язык более приспособлен для поэзии?» Я бы, не задумываясь, ответил, что любой язык, родной для поэта. Кома, сказав примерно то же, добавил, что древние, умершие или умирающие языки как будто были созданы для поэзии. (Я подумал: может быть, в самом деле, потому что они не были отягощены и усложнены разработанной логикой). Или: «Что почувствует человек, когда будет присутствовать при смерти русского языка?» Он выразил надежду, что русский язык сохранится, пока «жив будет хоть один поэт». Я об этом, как ни странно, думал, представлял такую возможность теоретически (останется один мировой язык, допустим, английский), но не углублялся: это будет не при мне, возможно, и люди тогда будут мыслить по-другому. Говорил о концепции Фоменко (на удивление доброжелательно), попутно говорил о циклической хронологии Хлебникова, о концепции Кондратьева, но это я давно и не раз слышал. Рассказывал, как выступал перед комиссией американского Конгресса вместе с другими приглашенными, в том числе Нобелевскими лауреатами, высказывался по поводу будущей концепции образования. Я еще раз ощутил, какой это незаурядный, глобально мыслящий человек... (Подсчитал: мы познакомились, а потом подружились, когда ему было немногим больше 40, как сейчас моему сыну)...

Кома показался мне грустным, я не могу представить его в американском одиночестве. Наверное, одиночестве.

В «Политическом журнале» упомянут Лимонов — «один из четырех, может быть, пяти всемирно известных русских писателей». Автор, вероятно, выражает не просто свое мнение. Кто же остальные три-четыре? Наверно, Сорокин, Пелевин. Солженицын? Вряд ли, хоть он и всемирно известен. Это из другой литературы. Во всяком случае, наверняка не Фазиль Искандер.

Остается опять размышлять о состоянии современной культуры.

22.6.06. Время от времени возвращаюсь к книге Комы... Пытаюсь проникнуть в смысл темного для меня стихотворения «Памяти Жанны» («Вокруг Бодлера»), перечел у Бодлера «Цикл Жанны Дюваль». Впервые мне, как никогда, открылась пронзительность этого цикла. Стихотворение Комы ясней не стало, но я словно неясно ощутил какую-то «остаточную энтропию», о которой он говорит, ссылаясь на концепцию математика Колмогорова — что-то, что остается в поэзии прямо не выраженным, невыразимым. Это невыразимое показалось мне грустным. Хотелось бы ощутить его человеческую суть ближе. В стихотворении, посвященном памяти Бродского («По дороге к небу») гово-

рится, что он «распутством загородиться должен, как щитом», и остается, в сущности, одиноким, закрытым «от тех, кто думал, что понимает Бродского стихи». А он в стихах пытался скрыть «ему доставшийся огромный дар». Чувство, что и Кома за своими титулами мировых академий, (как и за не всегда убедительными стихами), пытается что-то скрыть. Я подумал об этом с нежностью — и грустью, сознавая, что никогда не смогу у него спросить об этом. И никто не сможет.

16.7.06. Этюд «Тела». (Идея)

Раздень короля и крестьянина — не отличишь. Тот, кто это сказал, не видел ни того, ни другого.

«Я этих людей в бане узнаю», — сказал Э. Г. о партаппаратчиках. Я увидел их однажды в массе, в райкоме — особый антропологический тип.

Голые купальщицы в Коктебеле — узнавались работницы. Жизнь формирует тела, исправляя природный замысел.

22.7.06. В жизни я бываю простодушен, наивен, романтичен, сентиментален. В литературе я успеваю подумать над своими словами. И вспоминаю про юмор.

24.7.06. Я написал Жоржу Нива, что купил билеты в Женеву: для получения швейцарской визы необходимо показать обратный билет, в подтверждение, что ты не намерен там остаться. Он ответил неожиданно эмоционально: мне стыдно за Швейцарию, вообще за эгоистичный Запад, который не хочет пускать к себе «наших европейских кузенов»-русских и бедных африканцев... Драгоценный человек.

Гале позвонила ее красноярская одноклассница К. Недавно произошла катастрофа на иркутском аэродроме, почти в городской черте. На месте аэродрома были когда-то дачи НКВД, там работал сторожем брат ее деда. Он под большим секретом рассказал жене, что в это место каждую ночь привозили людей и расстреливали. Аэродром стоит на костях убитых. К., может быть, последняя, кто знает об этом. Сейчас там собираются установить мемориал в память жертв катастрофы, она хотела бы сказать про другие жертвы, советовалась, с кем можно связаться.

«В любом из здешних мест, / куда ни обернешься, / ставь свечу и крест, / и ты не ошибешься» (Ю. Ким). С каждым годом открывается все больше и больше. Страшная страна. Самое страшное, что мы живем на костях и не хотим знать, не хотим вспоминать.

Художник (им может быть и фотограф) старается в портрете раскрыть суть человека. Фотограф-репортер подловит тебя, когда ты ковыряешь пальцем в носу. То есть на самом деле не ковыряешь — палец на миг так совместился с носом, как будто ковыряешь. Теперь можно продать.

27.7.06. Вчера поздно вечером вернулись из трехдневного путешествия с Валерой и Леной по Смоленской области... У меня сверх ожиданий сразу пошли рабочие мысли, я заполнил десятка два листочков на обеих сторонах, не считая путевых заметок, иногда в машине, на тряской дороге, некоторые записи (стенографические, краткие) сейчас с трудом расшифровываю. Возможно, на компьютере путевые заметки немного упорядочу. Весной местность бывала неприглядно обнажена, сейчас время цветущее, пейзажи были восхитительные. Назову некоторые пункты. Руза. Лужицкий монастырь под Можайском. Исток Москвы-реки. Николина гора — Можайский кремль, выложенный камнем небольшой бассейн. «На сем месте благоустраивается водосвятный комплекс». Поразительная нечувствительность к слову: водосвятный комплекс. Вспомнилась афиша: «Русское национальное шоу».

Зато как восхитительны названия деревень, рек: Хлусы, Мжуть, Язвище — взгляни на любую карту местности. Не всегда можно растолковать: фонетическое пиршество. Вспомнились французские: Mont Noir, Mont Rouge. Черная гора, Красная гора. Простенько.

Смоленск. Демидов. Пржевальск, поселок городского типа, раньше назывался село Слобода: родное место Пржевальского. Здесь его усадьба, теперь музей. Возле одного дома увидел танк, не сразу понял: здесь Музей партизанской славы. Национальный парк Смоленское Поозерье. Попробовали устроиться в местном санатории, не удалось; нашли комнату у старушки в ближней пятиэтажке, за всех уплатили 800 руб. Как мне сказали местные жители, если кто-то здесь зарабатывает в месяц тысячу, это удача. Была когда-то молочная ферма, какое-то производство — все закрыли. Санаторий приватизировал бывший директор. Женщины работают в санатории, для мужчин работы практически нет. Говорят, пьют, но мы пьяных не видели. Собирают ягоды, грибы, продают (в этом году неурожай). Поля, дуга вокруг — сплошные пустоши, запущенные уголья. В магазинах все есть, но большая часть продовольствия у нас импортная, все покупается на нефтяные доходы. На дорогах грузовые трейлеры, белорусские, латвийские. Противоестественная экономика...

Прекрасное путешествие, но, как всегда, уже тянуло домой, к работе. Отдых для меня — все-таки отключение от жизни. Хотя на этот раз я в пути работал.

22.8.06. *Швейцария*. ...В городке Сион, где живет переводчица одной из моих книг Клэр де Морсье, я впервые за несколько дней увидел швейцарского полицейского. Клэр захотела по пути купить мне открытку с видом города, остановила машину возле магазина и, увидев тут же полицейского, вышла к нему. Я знаю, сказала она, что здесь останавливаться нельзя, но у меня в машине писатель из России, я хочу купить ему открытку. Полицейский взял у нее деньги, сам пошел в магазин и сам принес мне открытку в машину.

Каковы, однако, в Швейцарии полицейские, подумал я, каковы здесь отношения с полицейскими! И о чем тут мог бы писать литератор, вновь и вновь покачивал я головой, есть ли тут вообще проблемы?

Я очередной раз завел этот полшутливый разговор, прогуливаясь по Сьерре с Жоржем Нива. Вдруг он, усмехнувшись, показал мне впереди плакат, вывешенный возле ящика с местной газетой. «ВАРВАРСТВО!» — прочел я изда- лека кричащие крупные буквы. Тревожная местная новость. Значит, и здесь все- таки что-то бывает.

«ВАРВАРСТВО! — прочел я снова, приблизясь. — На вокзале найдена по- вешенная кошка».

14.9.06. Новый богач захотел иметь свой портрет работы художника Шило- ва. Оказалось, к этому Шилову стоит очередь за портретами, стоит каждый 50 тыс. долларов. Но есть особая очередь, за 150 тыс. Богач оказался в ней пятым.

Время спустя ему понадобилось вывезти на Запад свою коллекцию рус- ской живописи. Эксперты-искусствоведы оценили работы для таможни. Только портрет работы Шилова оценивать не стали: это можете вывезти бесплатно, ра- бота художественной ценности не представляет.

Как?! — опешил богач. Эксперт, усмехнувшись, показал обратную сторону портрета. Он был написан на оргалите от упаковки холодильника Stinol — на- звание оттиснуто несколько раз крупными буквами. Портрет, по рассказу ви- девшего его искусствоведа, был просто халтурным.

Рассказано это было по поводу очереди в музей Шилова.

20.10.06. Надпись на стене: «Мачи хачей, спасай Россию». И еще в таком же духе: «Слава России, смерть врагам», и пр.

15.11.06. Вечером поехал в Литературный музей на вечер Комы Иванова. Представляли две видеокассеты с его воспоминаниями и размышлениями, по- казывали небольшие фрагменты, но, главное, выступал он сам...

Кома начал с размышлений о современной культурной ситуации. Мы (в России) оказались в какой-то промежуточной, переходной ситуации: происхо-

дит смена поколений (за один последний год ушла целая плеяда филологов). Теряется ощущение преемственности. В какие-то годы гении в разных областях являются одновременно, десятками, так было в 10—20-е годы. Сейчас появляются единицы. Капица когда-то написал статью о Ломоносове, который не оказал на современников должного влияния, потому что был одиночкой. (Я могу дополнить это от себя, потому что слышал самого Капицу в Институте физпроблем. Ломоносов, говорил он, открыл закон сохранения материи раньше, чем Лавуазье, но в России не существовало научной общественности, чтобы это оценить). Люди не всегда знают имена, явления, которые могут быть непонятными, не нравиться, но важно осознавать, что они существуют.

По странному совпадению, я как раз об этом думал по дороге сюда, в метро. Может быть, потому, что утром прочел в газете «Еврейское слово» статью А. Наймана о Нобелевских лауреатах по литературе. «Нынче ситуация такова, что крупных фигур не может быть принципиально... Те, с кем он сталкивается в обществе, трется в тусовке, его обещают». Я вспоминал свои давние размышления: откуда такая уверенность, что сейчас просто не может быть гениев? Может быть, потому, что мы их просто не знаем? (Особенно это очевидно в живописи). Нет, есть какие-то цивилизационные причины...

Приведу еще замечание Комы о политической ситуации. Мы живем в каком-то варианте советской системы. Перемены не так уж существенны. Какие-то существенные процессы происходят в «большом времени». В этом времени Россия станет одной из самых интересных стран. Мы можем смотреть вперед без боязни. Сейчас весь мир живет в каком-то своеобразном кризисе, это связано с засильем технической культуры. И опять: не существует бесспорных и авторитетных лидеров во всех областях культуры.

Как всегда, производит впечатление широта охвата, способность вводить знакомые явления в культурный контекст... Кроме с его памятью вряд ли нужен дневник. Мемуары больше выстроены, обобщены, уравновешены. Но в «Стенографии» больше неправленной, не сглаженной искренности.

16.11.06. Годовщина смерти мамы. Съездили на кладбище. Тихо, умиротворенно. Показалось, что меньше стало еврейских надгробий в виде дерева с обрезанными ветвями (прекрасный символ). То ли их закрыли, то ли заменили новые памятники. На центральной аллее два новых монументальных, гранитных — не надгробья, почти мавзолея, не знаю, как назвать, протяженностью метров 20: двое молодых людей (30 и 36 лет) с азербайджанскими именами, фамилиями, но с еврейскими звездами на памятниках. Еврейские азербайджан-

цы. Бандиты, наверно, убиты. Тут же, в первом ряду, начинают ставить памятник Аркадию Вайнеру, детектившику. Я был с ним бегло знаком.

Умер Юрий Левада.

27.11.06. Когда по радио объявляют о выступлении А. Проханова, я сразу выключаю приемник: не хочется тратить время жизни на эту мерзкую фальшь, все время при этом мысленно возражая и портя себе настроение. Но сегодня случайно попал на него, включив радио, не сразу понял, кто это, и недолго слушал. Обсуждалась тема: европейская ли страна Россия или что-то особое? Проханов с напором утверждал, что Россия не просто чужда Европе — она ей противостоит. Европа, запад вообще разлагается и гибнет, спасение только от России. При этом Россия не может быть богатой, благополучной страной, как другие, природные условия, климат, территория этого не позволяют. Россия — нерентабельная страна, в этом ее достоинство, потому что убогость располагает к духовности. В несравненной духовности ее сила. Демократия для нее невозможна, здесь невозможно без насилия, без диктатуры. Ну, и, конечно, про империю, про Третий Рим. Ссылки на великие имена: Достоевский, Сталин, Федоров. Федорова этот бред особенно напоминал, тот превозносил российскую убогость и видел будущее в деревенских лабораториях, где научатся возрождать покойников из частиц праха, который будут собирать женщины...

Я долго не выдержал, выключил. Почему его чуть ли не ежедневно продолжают слушать, читать, приглашают на ток-шоу? Почему никто не дал отповедь этой дурно пахнущей, опасной для страны демагогии, шипучему пустословию? Может быть, я не читаю?

И тут же обратился к себе: а почему бы тебе не написать? Ты бы нашел нужные слова.

Но для этого надо прочесть его сочинения, романы, его газетную чушь, — ответил я себе. Не просто жалко времени — это вызывает тошноту. Может, и другие по этой же причине молчат?

8.12.06. Уже почти месяц хмурое небо, иногда моросит. Аномальная для декабря погода, ночью +6° и больше, в лесу появились опята, на ветках почки. Такого еще не было. То же по всей Европе — говорят о глобальном потеплении...

Заглянул в роман Набокова «Смотри на Арлекинов!», раскрыл на странице, где герой с подложными документами летит в Советский Союз. Сам Набоков, как известно, эту свою фантазию не осуществил, советские впечатления описывает с чужих слов, и как же они тошнотворны! Толстые грубые стюардес-

сы окружены ароматом лука и мерзких духов «Красная Москва», на обед шпроты с водкой, глинистая вода из крана в гостинице — и, конечно, тотальная слежка. Роман вообще мне казался неудачным, эти страницы вызывали усмешку. Не такая была у нас жизнь, мысленно возражал я, так же мысленно перебирая, что мог бы его впечатлениям противопоставить.

И вдруг растерялся: что, в самом деле? Советский быт, коммунальный, деревенский, провинциальный? Советский общепит? Советские магазины? Тогдашнее советское кино? Литературу? Живопись? Не гениев же, уничтоженных, растоптанных, загнанных в подполье. Советский балет, шахматы, романтизм комсомольцев-идиотов (одним из которых был я)?

Вспомнил, как в Париже Гиршович объяснял, почему считает гением Сорокина: он показал, в какой мы жили выгребной яме. Ничего не поделаешь, есть в этом своя правда.

Хотя, конечно, не вся, иначе мы бы просто не выжили, остались бы неизлечимыми идиотами. Были обычные человеческие отношения, любовь, природа, искусство, способность отгораживаться от окружающего безумия в своем мире. Хотя ужас, безумие, насилие в любой момент могли в этот мир ворваться.

14.12.06. В «Политическом журнале» интересное интервью с Германом Андреевым (Фейном), нашим эмигрантом, живущим в Германии. Захотелось выписать одну цитату: «Вы знаете, я сегодня стоял на перроне станции «Площадь революции», смотрел на лица — сколько обаяния у русских! С Германией даже сравнить нечего. Столько приятных лиц я за всю жизнь там не видел». Интересно.

Из записей 2007 года

16.1.07. Просматривал альбом Филонова, делал наброски возможного стихотворения. Еще в молодости, до революции, сложился очень большой, мирового масштаба, художник. В 20-е годы вдруг соблазнился идеей аналитического, всеобъемлющего, единственно несомненного искусства, стал писать не картины, а «формулы». Беда русского сознания. И еще непременно оглядка на «русское»: иконопись, этнографию, кустарные промыслы, это было у многих. Во Франции художники просто писали картины, интересовались африканским, японским, полинезийским искусством, но не французской стариной. Потом он от этого ушел, но окончательно добила его советская система.

17.1.07. Сходили с Галей в Музей частных коллекций на выставку Филонова — впечатление подтвердилось.

Человек Филонова

Кристаллы саморастущих домов, зыбь городской брусчатки
Грозит засосать человека, он сам становится зыбким,
Бескровным, бесполом телом. Смотрит пустыми глазами,
Ни с кем не встречаясь взглядом, потерянный, оцепенелый.
Все смотрят мимо друг друга, все друг от друга закрыты,
Отделены, отгорожены внешним покровом кожи,
Соседствуют, не общаясь, молчат каждый на своем языке
Или беззвучно вопят, открыв редкозубые рты.
Человечней, пожалуй, глаза у лошадей и коров.

Суть человека раскроешь, если проникнешь под видимость,
Вглубь дремучих переплетений под кожей,
выявишь химию мысли,
Которая рождается в голове, как запах в цветах, деревьях,
Вытекает наружу, затвердевает кристаллической формулой,
Способной преобразить этот мир.
Вязкая россыпь, калейдоскоп,
Праздник трагических красок,
Человек, растворенный в формуле.

Услышал по ТВ от Юза Алешковского замечательное определение свободы: «Свобода есть абсолютное доверие к Богу». Не знаю, сам ли он это придумал, но хорошо.

30.1.07. С интересом читал интервью с умницей Reich-Ranicki. Он подчеркивает, что ощущает себя не немцем, а человеком, принадлежащим к немецкой культуре. Об особой роли немецких евреев: Маркс в социологии, Фрейд в психологии, Эйнштейн в физике, Шенберг и Малер в музыке, Кафка в литературе были начинателями и вершинами; почему-то именно немецкий диалект стал еврейским языком, а не какой-нибудь другой. Объяснить это он сам не берется. Неожиданным оказалось отношение интеллектуальной элиты Германии к Генриху Бёллю, которого, по словам одного деятеля, «не надо путать с действительно великим писателем» («H. B. nie mit einem grossen Schriftsteller verwechselt worden»). R.-R. объясняет, что в эту пору не было другой персоны, которую, говоря нынешним языком, можно было «раскрутить» на роль Galionsfigur der Literatur. Больше бы подошел, скажем, Макс Фриш, если бы не один его недостаток: он был швейцарцем. Интересно.

31.1.07. Вводя в компьютер годы «антиалкогольной компании», пытался с Галей вспомнить, что мы тогда пили? Вспоминались часовые очереди, талоны, ограничения — но что мы пили? Вспоминались какие-то наливки, «бормотуха» (наш знакомый однажды пролил ее на рукопись — и бумага «сгорела»). А было

ли вино, без которого сейчас не представить нашего быта? Кажется, в Столешниковом переулке можно было иногда купить «фетяску»... И вот сегодня к нам приехал в гости Валерик — вдруг вспомнили: он приносил нам флакон спирта из Института физпроблем, мы его разводили. Вспомнили самогон, который готовил Олег... Вот память!

1.2.07. Reich-Ranicki с симпатией упомянул в своем интервью Голо Манна, я взял посмотреть его книгу воспоминаний («Erinnerungen und Gedanken»). Замечательная глава об его учителе Ясперсе. И в заключительной главе замечательный анализ исторических событий, причин Первой и Второй мировых войн, прихода к власти Гитлера — на каждом этапе очевидна упущенная возможность избежать катастрофы, слепота современников. Можно ли было увидеть это вовремя, что-то понять? В самом конце он задает тот же вопрос. «Wo liegen die Grenzen zwischen Schuld und Unvermeidlichkeit? ...Wann erschien der letzte Moment, in dem es noch möglich wäre, Europa von [den] extremsten Folgen zu bewahren? Beweisen läßt sich hier in aller Ewigkeit nichts. Die „logische Positivisten“ lehren uns, eine Frage, die man prinzipiell niemals beantworten könne, sei keine. Falsch. Es gibt solche, über die man nachdenken muß, auch wenn sie keine Lösung zulassen; und das können die allerernstesten sein». (Где проходит граница между виной и неизбежностью?... Как определить последний момент, ко еще можно было уберечь Европу от тягчайших последствий? Доказать тут никогда ничего невозможно. «Логические позитивисты» говорят нам, что вопрос, на который в принципе невозможно ответить, просто снимается. Неправда. Существуют вопросы, над которыми мы *обязаны* размышлять, даже если они не имеют ответа, и как раз эти вопросы бывают самыми серьезными).

Я узнавал схожие мысли, просматривая дневники 88-89 гг. и кое-что вводя в компьютер (очень мало, больше оставлял нерасшифрованным: политические новости, публикации, хождения по редакциям, ежедневную работу; каких-то имен и событий даже вспомнить не мог). Все барахтались в происходящем, не всегда понимая, куда нас несет, и не умея направлять события. Другие, не я, хотя бы пытались в чем-то участвовать, выступали, публиковались. Я, между прочим, тоже пытался печататься — даже забыл, сколько было редакций, в которые стучался; иногда печатались мои эссе, но это не была публицистика. Здоровые мысли, которых было немало в моих дневниках, там и остались — сейчас я отдаю себе отчет, что они и не могли бы прозвучать. Сейчас я иногда предлагаю в журналы свою «стенографию» — кое-что печатают, отклик мне неизвестен...

4.2.07. В дневниковую тетрадь 90-го года были вклеены еще две цитаты, которые захотелось переписать, чтобы держались в памяти — они остаются актуальными. «Человек не должен желать себе ни величия, ни счастья, ни героизма, ни сладких плодов, он вообще ничего не должен желать себе, ничего кроме чистого, чуткого ума, храброго сердца, а также верности и мудрости терпения, чтобы благодаря им, вынести и счастье, и страдания, и шум, и тишину». (Герман Гессе)

И слова, которые написал умерший в том же 1990-м году Мераб Мамардашвили: «Я весьма оптимистично смотрю на будущее, хотя называю это состояние другими словами — крайний метафизический пессимизм. Именно потому что я не связан никакими надеждами, передо мной все время открывается ровное, не замутненное разочарованием пространство, то, что называется «трагической веселостью»».

Перепишу еще запись 27.11.90: «Я заметил, с каким нетерпеливым удовольствием сажусь вечером записывать события дня — особенно если они были. В сущности, с удовольствием хороню еще один прожитый день».

3.3.07. Вдруг становятся прозрачными стихи, еще недавно загадочные.

Я по лесенке приставной
Лез на включенный сеновал.

Я всегда любил залезать на сеновал, не раз ночевал там; запах свежееубранного сена, который вскидывал туда на вилах, мил моему сердцу. Но у Манделштама сеновал «включенный», т. е. сено уже слежалось, пересохло, стебли трав покрошились.

Я дышал звезд млечной трухой,
Колтуном пространства дышал.

Чувствуется, каким трудным, астматическим становилось здесь его дыхание. Сенная труха, колтун, «сколка» перепутанных, «сухоруких» трав враждебны мировой гармонии — «удлиненным» звучаниям, «эолийскому строю».

Распряженный огромный воз
Поперек вселенной торчит
Сеновала древний хаос
Зашекочет, запорошит.

Возом называли иногда созвездие Большой Медведицы, оно и впрямь напоминает крестьянскую повозку. Но распряженный воз — это, возможно, еще и босховский «Воз сена», его тащат куда-то жуткие твари, из которого спешат урвать хотя бы клочок беснующихся вокруг люди. На картине этот символ многозначен. Манделштам чувствует жизненную необходимость сопротивляться хаосу, «строить лиру», «вернуться в родной звукоряд», где можно будет свободно дышать. Гармония не дается сама собой, требуется постоянное усилие: «Против шерсти мира поем» —

Чтобы розовой крови связь
И травы сухорукий звон
Распростились: одна — скрепясь,
А другая — в заумный сон.

7.3.07. В газетах пишут о «смене брендов»: Ленина стало модно оплевывать, зато возвеличивается Сталин. По ТВ уже месяца два идет фильм «Сталин live». Я раза два включал: больше минуты не мог выдержать. На недавнем церковном соборе митрополит Кирилл вторил партийным лозунгам: «русская идея», православие в школах, новое, позитивное понимание империи. Сталин — патриот, воссоздатель империи, Ленин был с евреями, разрушил империю. Голосов, напоминающих о реальной истории, почти не слышно.

16.3.07. В. С. пишет о японцах: «Я давно обратил внимание на эту странную нацию... Эти люди читают идиотские комиксы (взрослые!) и, когда приезжают в Европы, шастают организованными группами: я видел, как они сплоченным коллективом быстро-быстро шли по Лувру, останавливались по знаку экскурсовода у «Моны Лизы», и тут же дальше».

Я сам, помнится, усмехался, глядя на такие торопливые группы — не только японцев, но и немцев, и русских. В этой усмешке есть элитарное высокомерие. Экскурсанты — заурядные служащие, клерки, продавцы, они вырвались в отпуск, счастливы отметить возле памятника. Для них произведения искусства (и многое другое) не могут значить того, что для понимающего художника. Пусть украшают, разнообразят монотонную, конвейерную жизнь комиксами, экскурсиями. Высокомерие несправедливо. Люди разные, и ценности у всех разные.

24.3.07. *Мысль при чтении В. Налимова.* Телеологическая несомненность, необходимость присутствует во всех подлинных проявлениях жизни, мысли, искусства. Это не могло не состояться, это возникло, произошло не случайно. Неподлинное нежизнеспособно, исчезает, преодолевается, как шум, помеха, как мусор. Есть жизнеподобные муляжи, имитации.

6.4.07. В письме Хазанову я процитировал недавно прочитанную фразу Мандельштама: «Нельзя выбрасывать на рынок безнаказанно сотни тысяч неуважаемых, непочтенных или полупочтенных книг, хотя бы продажных, хотя бы тиражных книг». Он называет это «горькой и унижительной болезнью». 1929 год. Я написал: «Ничего нового, так было и во времена Пушкина, разве что цифры тиражей другие. Насчет безнаказанности — вот это пока не ясно».

Он замечательно ответил: «Нет. Хотя речь идёт о том, что нам так хорошо знакомо, времена не те, что в двадцатых или тридцатых годах, не говоря уже о пушкинских. Совершилось нечто такое, о чём, возможно, тогдашние власти дум смутно догадывались. Но представить себе масштаб и следствия они не могли... Мы дышим другим воздухом... Обилие мусорной литературы, мусорной музыки, мусорной информации, лавина вообще всякой информации без разбора, без передышки, журнализм, правящий умами масс и в свою очередь поработанный массовым сознанием, которое он воспитал, коммерциализация всего на свете, индустрия потребления, рассчитанного на всех и доступного всем, ибо всё должно стать товаром и становится товаром. В результате — вот она, диалектика или, что то же, ирония истории... — всемогущий рынок становится рабом самого себя».

Возможно, это ответ на вопрос о безнаказанности.

14.4.07. Встретился на улице сосед, спросил полущутя: «А вы почему не на манифестации?» Сегодня проходил так называемый «марш несогласных», людей не пускали на Пушкинскую площадь, избивали, увозили в милицию; рассказывают разные эпизоды. Я хмыкнул: возраст не тот. «Что-то изменится, как вы думаете?» — неожиданно продолжил он разговор. — «Сейчас, конечно, не изменится, но рано или поздно измениться должно». Он согласился, стал рассказывать, какая тяжелая жизнь в его родной Калужской области: люди не работают, сидят без денег, пьют. Как обсуждают нынешнюю жизнь соседи по садовому участку, шофера (он сам шофер). «Говорят, все едут в Москву. Но ведь жить можно только в Москве». И показал на наших дворников, которые сидели неподалеку на ограде: они расписываются в ведомости за 3 тысячи зарплаты, но цифра поставлена карандашом, ее потом стирают, ставят 15 тысяч, это получает начальство. «Сами мне рассказывали. А что делать? Заработать можно только в Москве». Когда-то, в советские годы, я вел много таких бесед, знал, как недовольны люди...

15.4.08. ТВ-проект. Милая, симпатичная женщина приносит двум ведущим дамам свои вещи — те брезгливо их перебирают и бросают в мусорную корзину: надо одеваться не так! Ей покупают модные вещи, меняют прическу, макияж, говорят: откройте глаза! Она открывает глаза — и не узнает себя. Была симпатичным живым человеком, стала нарисованной стандартной картинкой из модного журнала — никем. С такой внешностью нельзя жить своей жизнью — только соответствовать чьим-то представлениям.

Таковыми же чужими, неорганичными выглядят роскошные интерьеры по модным картинкам. Когда живешь своей жизнью — создаешь обстановку вокруг себя, по своей мерке, как наращивает на себе раковину жемчужница.

(Не говорю о том, как смотрят эти передачи о роскошной жизни обитатели коммунальных квартир, провинциалы).

Исчезают игры нашего детства — это естественно. Но во что играют дети сейчас? Наши дети еще играли в прятки, классики, дочки-матери, прыгали через веревочку, мальчишки играли в войну. Выйдешь во двор — увидишь расчерченный асфальт, играющих детей. Сейчас остался, кажется, только футбол, теннис — спорт для специальных площадок. Катание на роликах, велосипедах и пр. — это все же не игры. Мальчишки ходят с автоматами, но их держат за руку мамы. Сейчас стараются не отпускать во двор одних. Множатся истории о пропавших детях, о школьных жестокостях, которые снимают на цифровые камеры.

Это, конечно, московские наблюдения. В провинции, в деревнях еще, должно быть, держится прежнее. Я подумал о своем «Учителе вранья», где сюжет начался с игры в прятки. Не придется ли объяснять нашим внукам, что это такое? Мои, кажется, в прятки еще играли.

23.4.07. ...Работу сбilo известие о смерти Ельцина. По записям разных лет разбросано много переменчивых оценок этой личности; но понимать что-то в происшедшем мы начинаем запоздало, (а некоторые до сих пор не поняли).

Обобщающим оценкам придет пора, но что он крупная, уже историческая фигура, ясно уже сейчас. Главным остается чувство: то, что произошло в 91-м году, я до сих пор воспринимаю, как историческое чудо, до которого не надеялся дожить. За это он уже заслуживает благодарности — как и за то, что это чудо не развеялось, его удалось сохранить. Остальное для истории частности (а для человеческой жизни — свобода, катастрофа, процветание и нищета, война, смерть).

10.5.07. ...Вчера праздновали Победу. Этот праздник все более переосмысливается: говорят уже не о советской армии, а о русской. И памятник в Таллинне, который переместили из центра города на военное кладбище, вызвав громкий до неприличия скандал, эстонцы называют памятником русскому солдату. В одной книжке Кундеры меня покорило повторяющиеся упоминания о «русской оккупации», «русской армии». В 68-м году в Прагу вошли все-таки не русские, а советские войска, среди солдат был и майор Масхадов, будущий чеченский президент. Но наша пропаганда бездумно отстраняет, отодвигает от себя бывшие советские республики, все больше видит в них врагов, ностальгирует по имперской мощи. Страна все-таки идет вперед, но головы многих повернуты назад. Все это не только противно, но опасно.

31.7.07. Умер Ингмар Бергман и сразу за ним Антониони. Оба дожили до 90, Антониони даже потерял дар речи после инсульта, снял фильм и давал пресс-конференции с помощью жены, которая служила ему медиумом, артикулируя невнятное мычание, он кивком головы подтверждал, что все правильно. Но оба завершили 20-й век и остались в нем. 21-й век вдруг опустел: ушли гиганты, и в живописи, и в литературе, и в кино. В самом деле — идет другой век. Я никого не могу назвать в живописи, хотя бы отдаленно сравнимого с Пикассо и Шагалом, не могу назвать (просто не знаю) поэтов после Бродского. Витя Ерофеев сторяча назвал было Пригова «самой большой потерей после Бродского». Но вот Хазанов прислал мне цитату из Пригова: «Вполне возможно, что нынешний... вариант высокой литературы, родившийся в свое время и честно свое отслуживший, так и остался в своем времени». «Ситуация рынка распределила приоритеты в современном мире по-иному». Ну, и много других словес. Файбусович отмечает «претенциозность, с которой декларируются общие места, и смехотворный язык, то псевдоученый, то кухонный. Спорить здесь невозможно». В некрологе «Политического журнала» описывается последняя акция, которая должна была состояться незадолго до его смерти: «Пригова хотели посадить на монументальный шкаф в цокольном этаже общежития МГУ, а затем на руках поднять шкаф с поэтом по лестнице на 22-й этаж. Дмитрий Александрович во время этого процесса должен был декламировать свои стихи». Не поймешь, с восхищением ли это описывается или с недоумением.

10.8.07. Во «Второй навигации» интересные материалы о кризисе постмодернистской концепции, которая была особенно влиятельной последние два десятка лет. Полячка Нина Витошек, профессор университетов в Осло и в Оксфорде, пишет: «Причина варварства — не в опощлении культуры, а в отказе делать различия». Постмодернизм стирал границы между высокой и массовой

культурой; казалось, что это освобождает и «депровинциализирует». Но в результате «все больше и больше кажется, что нет никакого различия между глупостью и мудростью: компетентность, правда и красота, как контактные линзы, находятся в глазах у наблюдателя... Как только они устранены и напряженность между сакральным и профанным исчезает, вместе с ними испаряется и смысл культуры в целом». Говорят о культуре применения наркотиков, культуре потребления, культуре насилия. «Культурной революцией Мао» называются события, которые привели к уничтожению примерно 20 миллионов человек, разрушению библиотек, сжиганию книг и т. д. Мы все еще называем это «культурной», а не «варварской» революцией. Такой «семиотический конфуз», по словам автора, приводит к тому, что все, включая варварство, определяется как культура. Постмодернистское размывание границ не только приводит к хаосу, но означает путь назад, к тоталитарной системе. Ведь «сущность советского тоталитаризма была как раз в отмене различий между правдой и ложью, историей и беллетристикой, глупостью и компетентностью, красотой и уродством... Одним из самых замечательных и недооцененных аспектов восстания против тоталитаризма является то, что он, тоталитаризм, по природе своей часто не эстетичен. Отвращение Томаса Манна к нацизму, например, носило печать отвращения, морального и эстетического». Мы думаем, что люди, угнетенные варварскими режимами, нуждаются лишь в одежде, лекарствах, пище; но одним из самых больших лишений для них является утрата достоинства и красоты.

Я что-то подобное пробовал сформулировать, полемизируя, например, с Марком Липовецким. Не только эстетическое отталкивание — невольную тошноту вызывали у меня иные авторы, которых он восхвалял.

«Мусор есть мусор, но история мусора — наука», — цитирует Витошек американского философа Хаака. «Сегодня кажется, что мы, начав с истории и теории мусора, пошли дальше. Мы предпочитаем осторожное описание, безопасное резюме; интеллигенция стала «девственницей корректности». Чтобы культуре было возвращено ее значение, надо восстановить в правах «ряд этических и символических форм и ценностей, которые взаимно поддерживают и защищают человеческое достоинство, культурные и лингвистические барьеры. Я подчеркиваю — защиту достоинства, а не терпимость, потому что терпимость может свести все на нет безразличием».

Георгий Степанович Кнабе пишет о другой стороне проблемы — об идентификации. Человек, неповторимый индивид, личность, вместе с тем всегда ощущает свою принадлежность к социальной и культурной общности, сознательно или подсознательно различает «свое» и «чужое». Для постмодернизма культурная традиция, принимаемая обществом как «своя», кажется чем-то предосудительным, антигуманным, несовместимым со свободным духом. Поощряется «мультикультурность», «политкорректность», отказ от стилей, традиций и пр.

«В этой ситуации инстинкт человечества властно требует того, чего нет, — той идентификации, что утрачена в цивилизации постмодерна», пишет Кнабе. Он цитирует предсказание Умберто Эко: «В следующем тысячелетии

Европа превратится в многорасовый или, если предпочитаете, в многоцветный континент. Нравится ли вам это или нет, но так будет». В человеке, однако, заложено знание о «своем» и «чужом», напоминает Кнабе. Миллионы «европейцев и американцев — не расисты и не ностальгирующие реакционеры; они просто хотят жить в стране своих дедов и прадедов и идентифицироваться с ней». Когда оказываются подорваны, упразднены какие-то насущные связи, человек культуры «уступает пространство истории чему-то противоположному идентификации и культуре — нетерпимости».

Это мы сейчас и наблюдаем — не всегда осознавая причины.

24.8.07. Опросы общественного мнения подтверждают, что молодые люди все меньше интересуются политикой и на выборы идти не собираются. Мы политикой не могли не интересоваться, узнавая правду о Сталине, а постепенно и обо всей системе, о страшной реальности, добывая ее запретными путями, осмысливая возможности (или невозможность) что-то в этой жизни изменить. Не странно ли: нынешней молодежи политическая правда легко доступна, а они обходятся самодельной мифологией, не особенно напрягая мозги? Насущней другие заботы.

На днях одна литературная дама говорила, что важнейшей темой для молодых прозаиков становятся деньги, и не как житейская проблема, а как некая метафизическая категория. Мне вспомнилось, что в обзорах немецкой прессы 70-х годов я часто реферировал рецензии на книги, где героями были финансовые дельцы, аферисты и т. п. Мне это казалось неинтересным, эти книги, по-моему, у нас не переводились, да и в Германии эти популярные прежде авторы, кажется, забыты, (как и политические Liedermacher, барды, по-нашему). Не знаю, что там популярно сейчас. Мы вышли на эту тематику спустя 30-40 лет, в другом, конечно, контексте. Будут ли этих авторов помнить спустя еще лет тридцать?

Та же литературная дама заметила, что поэзия сейчас интересна лишь узкому цеховому кругу. Для двух моих старших детей жизненно важными были Мандельштам и Пастернак, для младшей уже нет. Как и Окуджава, Галич, Высоцкий, Ким.

Берберова, которую я сегодня открыл (просто не зная, чем заняться ближе к вечеру, когда уже не мог работать) заметила, что многие ее современники-эмигранты (например, Бунин) заостенели в старых, еще от 19-го века, представлениях, вкусах, не воспринимая новых течений в мировом искусстве, литературе. Надо в этом смысле следить за собой.

8.9.07. Недавно я прочел у одного американского поэта и эссеиста (Дейна Джойл), что поэзией в традиционном понимании («литературной поэзией») интересуется все меньше людей, зато массовым успехом пользуется «устная поэзия» (рок, рэп, «ковбойская поэзия», «слэм-поэзия»). Оценивать ее «по канонам печатных текстов» нельзя, в печатном виде она не выдерживает никакой критики; надо сначала договориться о терминах. Юлик Ким выдерживает любые критерии, популярность его (у нас, во всяком случае) огромна и заслуженна. Не уверен, однако, что она сравнима с популярностью нынешних групп,

Гребенщикова, (которого на бумаге я просто не воспринимаю). «Сомнительная художественная ценность новых поэтических форм не отменяет их главной ценности: извечной человеческой тяги к поэзии», — пишет Д. Д. Поэзию в середине прошлого века уже объявили «умирающим искусством»; но новые формы возродили более массовый, чем прежде, интерес к ней.

11.9.07 Реклама книги:

В отстой развлечения прошлого века,
Прикольная книга спасет человека!

21.9.07. Один из читанных в эти дни авторов сокрушается о распаде Сов. Союза: потеряна прежняя единая родина, часть живет в России, часть на Украине. Я подумал: а что случилось после распада Австро-венгерской империи? Брат жил в Праге, сестра, как и раньше, в Вене, ну и что? Как ездили друг к другу, так и продолжали. Кафка говорил по-чешски, друзья только по-немецки — но проблем не возникало. Проблемы были другие: кризис, депрессия, инфляция, безработица.

По какому-то сцеплению мыслей вдруг вспомнилось, как я, турист, шел по Карпатам (места между горой Говерлой и Мукачевом), по бывшей польско-австрийской, кажется, границе, там на горах оставались бетонные столбики. И во множестве лежали кости, черепа не захороненных после войны солдат, наших ли, немецких, каски не помню чьи. 1957-й год, 12 лет после войны, в Москве фестиваль молодежи. Председатель сельсовета, к которому мы пришли отметить нашу маршрутную книжку, (подтвердить, что мы были здесь), доставал припрятанную печать: «Надо прятать от бандеровцев», — пояснил с усмешкой. Говорили, кто-то еще прятался в лесах. В поезде по пути я сфотографировал впервые увиденный мной тоннель, кто-то из пассажиров донес, подошел человек в штатском, засветил пленку. В местном поезде пассажир пиликал на скрипке, здесь этот инструмент встречался, как у нас гармошка. Иногда пели. Одну песню я, как ни странно, могу сейчас записать по памяти, не совсем по-украински, конечно:

На высокої полоніне
Вітер завиває.
Сідіт чабан на колоде,
Думку думає.

А я себе куплю тримбу,
Абы бути босу,
Нехай тримба затримбає
Коло мово носу.

Как-то нас подвезли по узкоколейке на старинном паровозе, еще австрийском. В одном доме нам разрешили переночевать на сеновале. Я предложил хозяину поколоть для него дрова — любил это занятие, каждую зиму ко-

дол у себя в Лосинке. Но такого удовольствия я больше никогда не испытывал. Гуцульский топор с узким острым лезвием на длинной, необычайно удобной рукоятке, буковая колода рассыпалась как будто сама, почти без усилия, не было сучков, тесных мест (надо вспомнить слово), в которых увязал топор. Мог бы махать без конца, как во сне, но заготовленные колоды кончились.

На горных тропах там еще встречались распятия. Однажды мы спросили дорогу у встречного, похоже, венгра, он не говорил по-русски. Повесил торбу на сук, налегке провел нас вверх, до перевала, откуда можно было показать направление.

Как-то на дороге мы нашли остаток кожаной обуви, постола, кто-то из ребят прикрепил его к палке, понес, как флаг. Встречный гуцул счел это за обиду, сказал: «Москва тоже в постолах ходила».

Ночевали мы обычно в каких-нибудь общественных зданиях, школах, клубах, в клубах иногда выступали. Местные жители благосклонно выслушивали нашу студенческую, а впрочем, столичную самодеятельность. С одним завклубом я потом некоторое время переписывался. Его звали Федор Кампов, у меня сохранились его письма, надо как-нибудь посмотреть. Жаловался на убогость жизни, нищенскую зарплату, на антисоветскую, «националистическую» настроенность местного населения. Он был здесь, как я понял, русским, не своим.

Во Львове я заглянул в католический собор, служба шла на латинском языке. Поляки поглядывали на меня молча. Помню средневековую площадь, старинную аптеку — чтобы оценить такие впечатления, надо заранее что-то понять, знать.

Кто-то из наших решил там постричься в парикмахерской, мы зашли за компанию. Парикмахер нас прогнал: чтобы не отпугивали клиентов, подумают, что очередь. Это был парикмахер-частник, там такие еще сохранились.

Ночевать мы попросились в заведение для малолетних преступников на окраине. Пока наш руководитель договаривался с начальством в помещении, один пацан на крыльце лениво со мной разговорился. «А знаешь, — спросил, — что такое штопор?» «Штопор — это то, чем открывают бутылки», — ответил я. «Штопор — это человек, который за копейку убить может», — объяснил презрительно. Не помню, там ли мы заночевали.

Всплыли воспоминания — решил их записать. Тогдашние дневники я, слава Богу, уничтожил. Надеюсь, ничего не осталось случайно. Любовных впечатлений у меня тогда не было. А ведь 20 лет. Ровно 50 лет назад.

28.9.07. Лопаются пузыри на волнах, миг — и нет их, сменяются, обновляется пена, ничто не остается навечно. Эти мгновения жизни обретают, сохраняют реальность в тебе, в твоих мыслях, чувствах, памяти. Достоверно запечатленное, сохраненное внутри.

29.10.07. Из газетного интервью (А. Р.). «Я родился и вырос в Мытищах. Так вот, класс, который на два года старше меня, весь на кладбище лежит. Кто в перестрелках погиб, кто от дешевой водки умер..., от нищеты, от нереализованности».

30.10.07. Суждения, которые кажутся новыми, оригинальными, со временем оказываются общими местами. Вдруг обнаруживаешь, что и другие говорят примерно то же. (Перечитывая недавние свои размышления о современной ситуации, политической, культурной, духовной). Неповторимым может быть лишь художественный образ.

Ангел теряет форму, давно ему не с кем бороться.
Слегка пополнил, облысел, крылья трачены молью.
(Кто-то сказал бы: временем, но его для ангелов нет).
В кафе «У Иакова» под стеклом показывают перо,
Найденное при раскопках — сохранилось на удивление.
У игровых автоматов азарт: новинка «Борьба с неизвестным».
До приза никак не добраться. Победа, кажется, близко —
Опять game is out. И приз остается загадкой. Знать бы приемы.
Приходится пробовать снова. Зато выброс адреналина!
(И доход заведению). В задней комнате полусумрак.
Запыленные переплеты на полках — собрание старинных снов.
Дым сладкого курева в воздухе загустевает, обещая видения.
В этих местах они, говорят, непростые, здесь проходит разлом,
Геологический и духовный, что-то вдруг может открыться.
Ангел принохивается, вдыхает. Виденья даются каждому
По способностям, по готовности к встрече, к прорыву
За доступный предел.
Но как же сладко растечься!

Кстати, уже почти завершив этот верлибр, я вспомнил переведенное Пастернаком стихотворение Рильке «Созерцание» и снова перечитал его по-русски и по-немецки. «Так ангел Ветхого завета нашел соперника подстать». Бессознательная переключка. Я, право, об этом не думал. И как непостижимо гениален перевод!

22.11.07. Среди бормотания бессонницы вдруг осмысленная фраза: «Жить так, как будто каждый день последний». Пятистопный ямб, можно вставить в стихотворение.

25.11.07. Введя в компьютер запись двухмесячной давности, решил достать письма Федора Кампова, культработника из закарпатской деревни: оживут ли воспоминания 50-летней давности (1957—59)? Оказывается, я их уже когда-то просматривал, кое-что подчеркивал на полях, пытаюсь извлечь сюжет.

«Отвечаю на некоторые вопросы твоего письма. Уходят ли сейчас с колхоза? Уходят. Только не думай, что навсегда уходят. Дело в том, что в город не так-то легко приписаться. Некоторым удается — те уходят на работу, скажем, на фабрику, завод и т. д. Другие находят любую черную работу, где не очень-то требуется приписка, скажем, грузят на какой-нибудь базе. Такие люди работают временно..., только б в колхозе не работать. Такие люди, на жаль, еще бывают у нас сейчас».

«Еще раз объясняю, что ты не поймешь меня. Ведь ты историю Закарпаття мало знаешь, каким путем оно дошло до освобождения, какие люди остались».

В том же году он поступил во Львовский культпросветтехникум. «Стипендию нам дают по руб. в месяц, но там еще за общежитие и другие вещи отсчитывают, так что чистых на руки получается 160—170 руб. А возможно ли в Львове, да и вообще в городе, где кроме воды, ничего не достать, прожить человеку? Только при помощи родных ты можешь жить, вернее, не жить, а дышать с дня в день. А что требовать от отца, которому скоро 70, да еще заболел, а дома 2 ребятишка, которых надо одевать, кормить и т. д. Нащел жизни у меня плохо. Но я не здаюсь и не здамся пока сил хватит и пока воостатнее сердце бьется в груди». (10.9.57)

А потом неудача с поступлением в университет, отчаяние. Родственники его шпыняли: не все же учиться, надо работать, жить. Судя по словам его писем, я его подбадривал, призывал держаться — стыдно было бы сейчас перечитывать. Посылал ему денег, 40—50 руб., судя по его благодарностям. И при том реальную жизнь по этим словам невозможно представить.

У меня залежались еще пачки давних писем — зачем их хранить? Кто после меня будет их разбирать? Буду понемногу выбрасывать, как выбросил старые рукописи и дневники. Со стыдом думаю, что могут когда-нибудь всплыть мои письма тех лет.